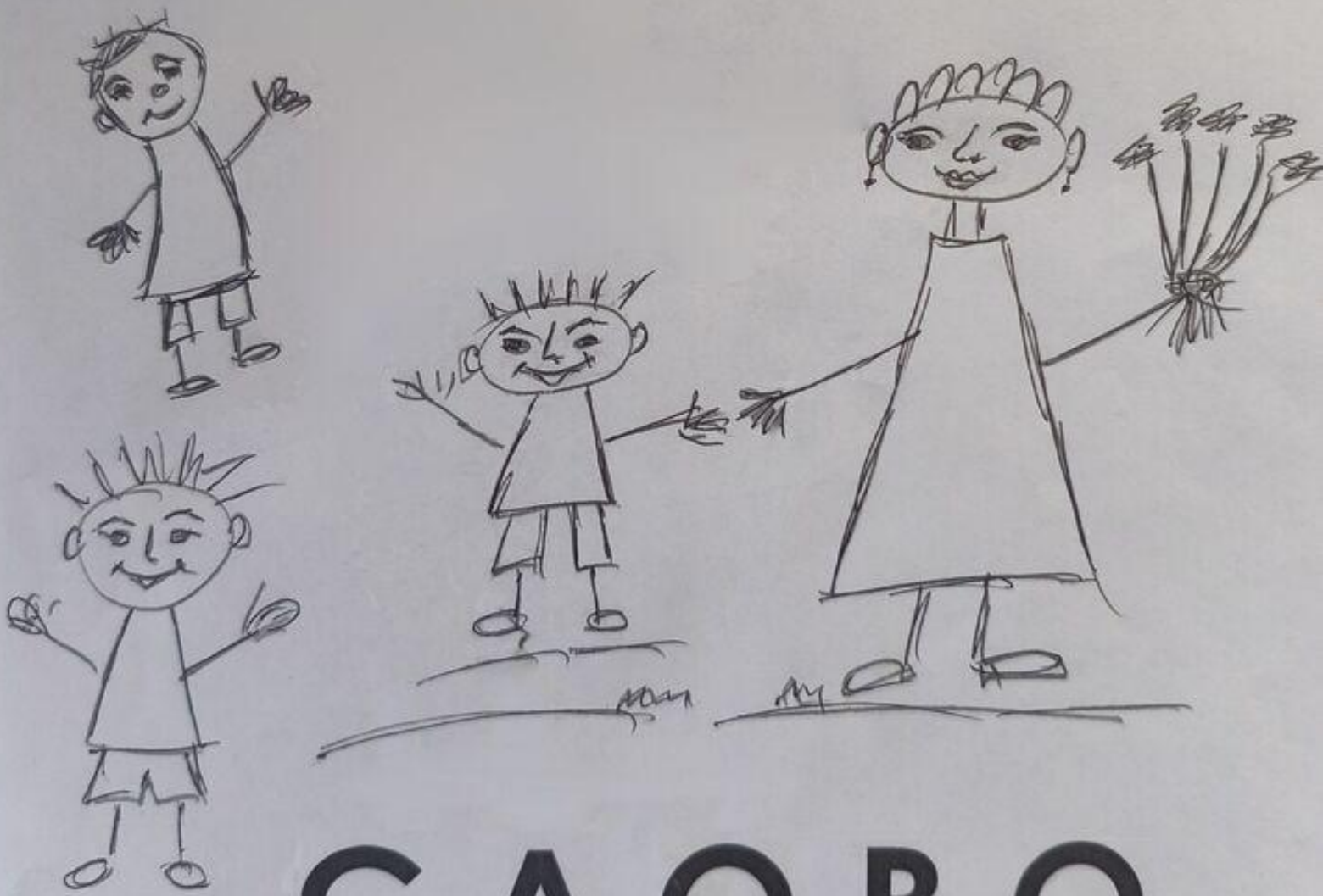
Сергей Евсеев

18+

Самое главное



СЛОВО

Сергей Евсеев

Самое главное слово

«Издательские решения»

Евсеев С. В.

Самое главное слово / С. В. Евсеев — «Издательские решения»,

…И слово это было «мама». И в слове этом был заключен весь смысл и весь свет окружающего мира. Потому что Мама — это свет, который озаряет начало нашей жизни. И который, если только человек остается человеком, святой лампадкой теплится в его сердце на протяжении всего земного пути… А в начале — в начале, когда деревья были большими, когда мир был просто необъятным, таинственным, загадочным и страшным, свет этот мамин был подобен свету солнца — он озарял чудесный, сказочный мир твоего детства.

© Евсеев С. В.
© Издательские решения

Содержание

И СЛОВО ЭТО БЫЛО «МАМА» 6
Сладостный сон 7
Самое главное слово 9
Красный день календаря 26
Раз в январский вечерок 30
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Самое главное слово

Сергей Владимирович Евсеев

© Сергей Владимирович Евсеев, 2026

ISBN 978-5-0071-7609-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

И СЛОВО ЭТО БЫЛО «МАМА»

Посвящаю моей маме Москалёвой Эмме Федоровне

…И вот пришла та пора, когда мама моя, пережившая полуголодное военное и послевоенное детство, все чаще и чаще стала обращаться — нет, не ко мне, скорее, к небесам, но с моим же тем давним, детским, недоуменным всхлипом: «Вот я есть — и вот меня уже нет! Как же это, а?» А я, повзрослевший на целую жизнь, прижимаю ее, превратившуюся за последние пятьдесят с лишним лет в сущий «божий одуванчик», и тихо шепчу в висок: «Ма-ма, не думай об этом, потому что смерти нет! Нету ее, ты поняла?» И она с застывшими в глазах бриллиантами слезинок благодарно льнет ко мне. Я проговариваю моей любимой, самой умной и самой красивой на свете маме те заповедные немудреные слова, которые сам так жаждал услышать от нее более полувека назад, несмышленым мальчуганом, по сути, только осознавшим себя человеком со всеми вытекающими, и замираю от трепетного, неизбывного чувства в ее теплых объятиях.

А в начале — да, было слово. И слово это было «мама». И в слове этом был заключен весь смысл и весь свет окружающего мира. Да, вот именно — весь свет! И весь мир был заключен в этом простом и емком слове, с которого начинается первая страница букваря, первое осознание себя, да и вообще все-все начинается…

Мама — это свет, который озаряет начало нашей жизни. И который, если только человек остается человеком, святой лампадкой теплится в его сердце на протяжении всего земного пути, хочет он этого или нет. Да, мамин негасимый свет в конце концов источается, скукоживается до малой лампадки. А в начале — в начале, когда деревья были большими, когда мир был просто необъятным, таинственным, загадочным и страшным, свет этот мамин был подобен свету солнца, потому что он озарял весь твой маленький мир — мир твоего раннего детства. Солнце вставало по утрам вместе с мамой, заполняя все вокруг своим ласковым и нежным светом, который лучился к тебе сквозь сон — ты чувствовал его через крепко сомкнутые веки. И от света этого шло великое тепло, которое согревало все твое существо до самых-самых глубин, заставляя на мгновение замереть твое маленькое сердечко, когда ты ощущал на своем виске или щеке теплое мамино дыхание, ее родной, ни с чем не сравнимый запах…

«Мама, мамочка… — ласково шепчу я ей в висок и полушепотом, почти совсем неслышно, добавляю сквозь неожиданно набежавшие бусинки-слезинки: Смерти нет, слышишь, нету её…» И едва слышный хрустальный звон незримых колокольцев разливается над нашими головами в пронизанном насквозь золотыми нитями воздухе неумолимо надвигающейся осени.

Сладостный сон

Бывают такие моменты в жизни, особенно в пасмурные, неприютные осенние утра, когда и не спишь уже часов с шести, а высовывать носа из-под одеяла ну никак не хочется, а хочется, наоборот, как в детстве, во время каникул, с головой завернуться в теплое бабушкино байковое одеяло, пахнущее свежестью, чтоб только нос оставался снаружи, да еще сверху натянуть на себя подушку, соорудив таким образом своеобразную нору, и продолжить это чудесное «зависание» между сном и явью, когда мысли текут, как мед, неторопливо и сладостно, возникая словно бы ниоткуда, подобно давним твоим цветным детским снам, которые подчас и не поймешь, где начинаются, ночью ли, вечером ли еще, когда ты набегавшись до одури со своими дворовыми друзьями, сидишь между бабушкой и мамой за чаем в «гостиной» перед телевизором и то и дело клюешь носом, засыпая на ходу, и где заканчиваются — с рассветом ли, во время тягостного пробуждения или уже среди бела дня, когда какие-нибудь важные дела и события, как школьные уроки, например, с оглушительными звонками на перемену, окончательно не выведут тебя из этого чудного парения над землей, грез твоих сокровенных и раздумий. Да и заканчиваются ли вообще? Какое же это счастье — когда они, эти сны, мечты и грезы не прерываются круглые сутки: в постели ли ты, за чаем среди родных, за любимой ли книжкой, где собраны под одной обложкой и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Есенин, и Чехов с Куприным, а может, с конструктором или с заветной своей тетрадкой, о которой не догадывалась даже мама, за новеньким своим письменным столом, установленным в маленькой твоей комнате у окна, за которым так тягостно порой гнутся под порывами осеннего ветра тополя, роняя слезы и высохшие желтые листья на асфальт. Эх, эх, где же то золотое времечко, где тот мальчик с открытым синим взглядом, стремящийся вобрать в свою маленькую душу все богатства и сокровища окружавшего его мира?

…И в сладкой этой предрассветной дреме, в этот пасмурный субботний день, перед мысленным моим взором, как наяву, является тот смешной вихрастый мальчуган, в пятне оранжевого света склонившийся над своей заветной общей тетрадкой в 96 листов, на обложке которой его нетвердой еще рукой выведено печатными буквами заповедное слово «Книга».

Потом этот мальчик незаметно превращается в юношу, шагающего по разухабистой «деревенской» улице вдоль деревянных, местами покосившихся заборчиков, ограждающих пышные палисадники, сады и огороды, в глубине которых в окружении неожиданно расцветших яблонь и черемух затаились каким-то чудом уцелевшие от беспощадного бульдозера старенькие избы с голубыми и белыми наличниками на окнах, с затейливыми занавесками внутри, прикрывающими старообрядческий мир и уют, притаившиеся за их стенами. Он идет не торопясь из своего девятиэтажного городского дома, взметнувшегося высоко над этим каким-то чудом уцелевшим островком патриархального «рая», жадно вглядываясь в глубь этих дворов, в окна ветхих домишек, пытаясь проникнуть душой в самую сердцевину, в самую суть этой на глазах уходящей в прошлое старой Руси, которую он, как казалось, чувствовал всем своим сердцем и всей душой желал, чтоб она как можно дольше оставалась на своем месте, на этом малом, еще не тронутом экскаватором пяточке между высотными домами и столбовой дорогой, по которой непрерывно мчатся неведомо куда, нещадно рыча и дымя, Уралы и Камазы, и время от времени позвякивает своим задорным электрическим колокольчиком трамвай, разгоняя зазевавшихся пешеходов. Юноша этот по обыкновению направлялся в «сельпо», что притулилось за дорогой, между небольшим сквером и вокзалом «Н-ск Западный». А позже, купив в этом старом, тоже каком-то патриархальном магазине, устроенном в бревенчатом доме, и впрямь ведь, верно, бывшем «сельпо», свежего, пряно пахнувшего хлеба, брел не спеша к вокзалу, поднимался на солидный, с широкой каменной лестницей, «как во дворцах», переходной мост, перекинутый над железнодорожными путями, и подолгу стоял посередине его, вгляды-

ваясь в стремительно накатывающих чернильно-лиловых, с изрядной примесью густой сажи по низам, весенних сумерках в неодолимо притягивающую к себе, манящую даль, туда, где на западе, на самом горизонте, еще теплилась ало-изумрудная полоса и куда устремлялись один за другим через каждые 15—20 минут пассажирские поезда с ярко освещенными окнами, тоже притягивающими к себе жадный до всего нового, неизведанного юношеский взгляд.

А через какое-то время этот самый юноша, но уже повзрослевший и окрепший телом, хотя все еще с тем же детским взглядом своих восторженных глаз цвета весеннего полуденного неба, уже сам отправляется с этого маленького вокзала в первое свое самостоятельное путешествие, в дальнюю дорожку, которая и называется жизнью. Его провожают мама, бабушка, дядя Володя, мамин троюродный брат. И в самое последнее, самое напряженное и волнующее мгновение, когда поезд уже вот-вот должен тронуться, на перроне появляется та девочка с золотистыми волосами до плеч, о которой он грезил два последних школьных года и которая останется в его сердце светлым сокровенным пятном, как часть его юности, на всю оставшуюся жизнь… А дальше картинки начинают мелькать, сменяя одна другую, с нарастающей скоростью, как мелькали дорожные столбы за окном набирающего ход скорого пассажирского поезда, который увозил юношу в большую, самостоятельную жизнь. Теперь и не верится даже, что этот наивный пылкий юноша — это ты сам.

А дальше-дальше… Вот курсантский твой строй, вот город на семи холмах над древней рекой, величественный и прекрасный, как иллюстрация из хрестоматии по русской литературе. Вот вдоль кромки моря навстречу тебе идет твоя единственная, несравненная твоя Женщина. И ты бежишь, бежишь ей навстречу, как сумасшедший, и наконец достигнув своей заветной цели, останавливаешься в полушаге всего от нее, задохнувшись от захлестнувшего тебя чувства… А вот и твой редакционный стол у окна, через которое виден со стороны двора все еще роскошный, хоть и изрядно обветшавший от времени, загадочный и стильный замок барона Штейнгеля, памятник чьей-то неземной любви к Женщине. И — к городу, прекраснее которого и впрямь (прав как был Михаил Булгаков, сто раз прав) нет в целом свете…

И вот, наконец, ты со своим младшим сыном катишь на велосипеде вдоль полей, лесов, озер и живописных днепровских излучин навстречу весне и новым открытиям. Вы мчитесь на своих стальных конях, посверкивающих спицами на солнце, туда, где небо сливается с морем, а между ними кружат чайки и парусники, так похожие на ваши с любимой солнечные, сокровенные ваши мечты, которым нет, кажется, ни конца, ни края. Так же, как и самой жизни. Так мнилось когда-то. Потому что жизни и впрямь ведь было тогда у нас впереди еще много-много. Так много, что мы, как беспечные дети, бездумно тратили ее, расплескивая через край, на всякие пустяки. Да, транжирили свои драгоценные деньки, еще не вполне осознавая, что всему на свете, даже самым долгим-предолгим зимним каникулам, рано или поздно приходит конец. И что когда-то наступит то время, когда, мысленно прокручивая пленку воспоминаний с самыми яркими картинами прожитых дней, вы с любимой будете с удивлением думать: неужели же все-все самое яркое и счастливое, все главное осталось уже позади, в прошлом?

«Ну, конечно же, нет!» — говорю я сам себе, вспоминая, как ласково успокаивала когда-то меня, никак не желавшего расставаться с бесконечным этим новогодним счастьем, моя бабушка в последний день зимних каникул, в один из рождественских таинственных вечеров, — ведь если все это живо в наших душах, значит все наши воспоминания, как и вся наша жизнь, трудная, бестолковая, разноцветная и неизменно счастливая, останется с нами навсегда. И значит — жизнь продолжается. Сколько бы дней на земле нам ни было отпущено Богом. Пусть же они все, как один, будут такими же безоблачными и счастливыми, как эти мои сегодняшние предрассветные сны.

Самое главное слово

В начале было слово. И слово это было «мама». И в слове этом был заключен весь смысл и весь свет окружающего мира. Да, вот именно — весь свет. И весь мир был заключен в этом простом и емком слове, с которого начинается первая страница букваря, первое осознание себя, да и вообще все-все начинается… Все то, что и называют осознанной жизнью.

Мама — это свет, который озаряет начало нашей жизни. И который, если только человек остается человеком, святой лампадкой теплится в его сердце на протяжении всего земного пути, хочет он этого или нет. Да, мамин негасимый свет в конце концов источается, скукоживается до малой лампадки. А в начале — в начале, когда деревья были большими, когда мир был просто необъятным, таинственным, загадочным и страшным, свет этот мамин был подобен свету солнца, потому что он озарял весь твой маленький мир — мир твоего раннего детства. Солнце вставало по утрам вместе с мамой, заполняя все вокруг своим ласковым и нежным светом, который лучился к тебе сквозь сон — ты чувствовал его через крепко сомкнутые веки. И от света этого шло великое тепло, которое согревало все твое существо до самых-самых глубин, заставляя на мгновение замереть твое маленькое сердечко, когда ты ощущал на своем виске или щеке теплое мамино дыхание, ее родной, ни с чем не сравнимый запах… Это длилось самую малость, всего какой-то миг, что казался тебе вечностью, в которой ты постепенно и растворялся, сморенный сладким утренним сном.

И свет этот неземной возвращался к тебе вместе с мамой уже поздним вечером, когда она приходила с работы, едва слышно отворяя дверь — он заполнял собою всю квартиру. И весь мир. Так казалось. И ты бежал со всех ног в коридор навстречу маме и с разбегу утыкался ей в колени, обхватив их своими ручонками… И в этом долгое время заключался весь смысл всей твоей маленькой жизни, которая в ту пору была подобна несмелому, едва пробивающемуся сквозь траву, сучья и прошлогоднюю пожухлую листву ручейку, чистому, прозрачному, звонкому, устремленному в далекие, неведомые дали. В большой и загадочный мир. И мир этот постепенно, шаг за шагом, открывала для тебя твоя мама, все расширяя и расширяя его границы и горизонты. Но долгое-долгое время твой детский мир был ограничен домом и двором. И маленький этот мир твоего раннего детства был прекрасен. И необъятен, как сама вселенная. А центром этого мира, этой вселенной, пересечением всех путей-дорожек, началом и концом их был твой дом. Пусть и не тот, самый первый, в который тебя принесли из роддома, но зато тот, в котором ты осознал себя человеком и начал шаг за шагом осваивать и познавать окружающее пространство. И откуда начался твой собственный путь, который и называется жизнью. Путь по расширяющимся с каждым днем орбитам — сначала в песочницу, затем за ручку с мамой в ближайший магазин, что уж точно находился в другой галактике, а еще через какое-то время — в школу, которая располагалась где-то на самом краю той вселенной, центром которой был твой дом. Школа открывала пути к новым, неизведанным и манящим мирам… Путь к которым неизменно пролегал от родного порога. Недаром же говорят, что родительский дом — начало начал.

…Дом этот был огромен, он возвышался над миром, как неохватный взглядом многопалубный красавец корабль, чьи трубы и антенны упирались, кажется, прямо в небо. Вечерами корабль этот расцвечивался многочисленными оранжевыми и желтыми огоньками окон-кают, что призывно манили нас, ребятню, в сизом сумраке летних и зимних вечеров своим уютным, теплым светом. И этот дом-корабль был несказанно прекрасен и по-своему загадочен, потому что в любом его окошке, за темными разноцветными шторами, таилась неведомая жизнь, в каждом — своя, незнакомая и до щеми в маленьком твоем сердечке притягательная. За каждым окошком, в этом манящем пятне таинственного света, была своя история. И своя тайна. Со двора загадочными казались тебе и твои собственные окна, хотя никакой тайны за ними вроде

и не было. В самом светлом, кухонном, окне хлопотала у плиты бабушка, готовя нехитрый ужин для всей нашей небольшой семьи из трех человек, главой которой была, конечно, мама. Бабушка же была в твоей жизни величиной постоянной и естественной, как день и ночь, как земля и небо. Бабушка была всегда рядом, отчего казалось, что она — неотъемлемая часть тебя самого, вечная спутница твоей маленькой жизни. Она излучала тихий ровный свет, вселяла чувство умиротворенности, покоя. Она была вот именно — хранительницей домашнего очага и важной неотъемлемой частью дома. Без нее, ее ежедневных нехитрых забот и трудов, казалось, весь этот незыблемый домашний уют просто рухнет, рассыплется, как карточный домик.

Что такое — этот самый карточный домик, я к годам трем уже прекрасно знал, потому что бабушка моя имела привычку раскинуть на досуге игральные пестрые карты. Из них она каким-то чудесным образом узнавала, что ждет каждого из нас в ближайшем будущем. Легкая дорожка, казенный дом, крестовый король, ценные бумаги, — все это с бабушкиной легкой руки в разные дни нашей жизни ждало нашу маму, когда она собиралась, например, в командировку или просто утром на работу… Благодаря бабушке в моей жизни появились и как бы ожили самые лучшие на свете книги: большие, толстые, в добротных, хотя и изрядно потрепанных переплетах, с яркими притягательными картинками. Книги для меня составляли целый мир, другой мир, удивительный и манящий, который, казалось, никогда-никогда нельзя будет охватить и постичь полностью ни своим маленьким сердцем, ни, тем более, умом. А бабушка как раз и помогала охватить весь этот увлекательный мир, скрывавшийся за толстыми обложками многочисленных книг из старого шкафа, терпеливо день за днем, страница за страницей открывая для меня все новые и новые горизонты, страны и миры. И не только книжные. Помню, когда я уже достиг весьма солидного — «предшкольного» возраста, она, бывало, оторвав свой взор от читанной-перечитанной книги и задумчиво уставившись куда-то в окно, через какое-то время заводила свой неторопливый рассказ о том, как жили люди в «старое время». Немудреные эти рассказы из собственной ее жизни завораживали меня так, что я слушал бабушку с открытым ртом, боясь даже пошевелиться…

Бабушка была для меня няней — Ариной Родионовной. И долгое время моим ангелом-хранителем. Причем не эфемерным, а реальным, во плоти. Мама же была праздником, солнышком, которое где-то высоко-высоко в небе и потому зачастую просто недосягаемо. Мама была как свет в окошке. Так говорила бабушка. И чем реже в родном окошке нашего огромного дома-корабля промелькивал этот ласковый свет — тем все сильней и сильней тосковало по нему мое бедное детское сердечко. И тем крепче я любил источник этого света — свою ненаглядную маму.

Все мои сокровенные детские тайны, все переживания, радости, грусти и печали хранили прочные кирпичные стены нашего дома. Да, дом наш был самобытным и пестрым миром со своей аурой, своими сказками, надеждами и мечтами. Он сохранял свою неповторимую атмосферу: добра, света и счастья во все времена года: весной ли, осенью, зимой или летом. Дом был надежной пристанью и защитой от внешнего, часто — довольно грубого и даже агрессивного мира. Таковым представлялся весь наш огромный дом-корабль в целом и, главное, наша небольшая квартира во втором этаже, которая была лишь его малой частью, но зато нашим — с мамой и бабушкой — отдельным домом. И ты знал, что если тебе во дворе угрожала какая-нибудь опасность — в виде задиристого «пришельца» из соседних дворов или же в виде злобной и всегда всем недовольной соседки по подъезду тети Моти — нужно было лишь со всех ног добежать по лестнице до двери своей квартиры во втором этаже, постучать в нее и быстро юркнуть в образовавшуюся щель, как только бабушка начинала ее отворять, и все опасности, страхи и угрозы оставались за твоей спиной, за плотно прикрытой входной дверью твоего дома. Дом — это все, что нужно человеку, а тем более маленькому человеку, чтобы чувствовать себя на этой земле уверенно, комфортно и счастливо. Ведь дома и впрямь все было для счастья: игрушки, книги, альбомы для рисования, цветные карандаши. Да мало ли чего там еще вся-

кого было, уж лучше перечислить, чего не было… Ты лихо объезжал эти свои «владения», все три небольших комнаты, на трехколесном своем первом велосипеде с кузовком, периодически заглядывая к бабушке на кухню, откуда постоянно доносились разнообразные вкусные запахи…

…И только мама, дорогая моя, любимая, самая красивая на свете мама, так редко появлялась в этом Доме. Ну точно — как свет в окошке. Мама среди недели приходила со своей работы довольно поздно. И к тому же часто оставалась на круглосуточные дежурства, даже по выходным. Мама была «большим» человеком: она преподавала в профессионально-техническом училище — обучала взрослых «дядек» и «теток» мудреной специальности радиста. Она учила своих подопечных азбуке Морзе и работе на радиоключе. Потому что только таким способом и можно было передавать важные сведения, например о погоде, с самых дальних точек и уголков нашей огромной, необъятной страны. После окончания училища мамины ученики разъезжались и разлетались по всем этим дальним «точкам» и часто, по праздникам, присылали маме толстые письма с красивыми поздравительными открытками внутри и с красочными марками на конвертах. По этим маркам можно было изучать географию страны. Но тогда я этого еще не понимал, меня эти марки привлекали своей яркостью и необыкновенными изображениями на них: незнакомых далеких городов, таинственных сопок, кораблей и даже, представьте, белых медведей и китов (чудо-юдо рыба-кит!). Как же я гордился своей мамой в те далекие-предалекие времена, когда все только-только начиналось и мне казалось, что мама всегда будет молодой и ослепительно красивой, а жизнь будет длиться вечно.

Маленький человечек, надежно защищенный от «страшного» внешнего мира, каким я был в ту далекую, мифическую почти пору, постоянно жил ощущением сказки, чуда. Порывы ветра за окном, шум деревьев, солнечные блики на полу, дождь, снег, звезды в сизом ночном небе — все это вызывало ощущение какой-то тревожной, волнующей тайны, чего-то большого и необъятного, что часто-часто приводило меня в неописуемый восторг. Тайна и сказка таились буквально во всем: в бабушкиных мудреных словечках, в книгах, в картинках из тех же самых книг, в маминых шкатулках с разноцветными брошками и бусами, в замысловатых росписях, голубым по белому, кухонных тарелок, в затейливом узоре старого ковра на стене, в листьях-цветочках на тюлевых пыльных шторах, в бликах солнца, играющих в драгоценных хрустальных вазах в серванте. Но самое настоящее чудо, сказку наяву, дарила мне моя любимая мама в те редкие дни, когда одевала меня во все новое и брала с собой на работу, на детские праздничные утренники, всевозможные концерты, представления, или даже, — вот уж праздник так праздник! — в настоящий театр. С замиранием сердца шагал я в такие счастливые дни рядом с мамой, едва поспевая за ее стремительным шагом, крепко держа ее при этом за руку, как будто боясь упустить из рук свое счастье. И через мамину теплую ладошку мне передавались пульсирующие горячие струи, наполняя теплом и трепетом все мое существо. Мы быстро проходили по нашему большому, надежно защищенному со всех сторон великанами-домами двору, оставляя в конце концов за спинами наш громадный многоярусный дом-корабль, и оказывались в следующем дворе, потом еще в одном, пока не выходили наконец через ажурные чугунные ворота на большую улицу, посередине которой в обе стороны с шумом и ревом проносились огромные машины, грохотали и металлически лязгали на поворотах красно-желтые трамваи с добродушными «физиономиями», то и дело подмигивали, переключаясь с зеленого света на красный и обратно, светофоры, закрепленные на высоченных столбах. А со стороны многочисленных магазинов громко, на разные голоса, перекрикивая друг друга, зазывали купить свежего молока, квасу либо мороженого голосистые продавщицы в кипенно-белых колпаках и передниках… Словом, прямо за углом нашего дома моему изумленному взору открывались «иные миры», в которых было столько всего нового и интересного. Например, старый каменный фонтан с тяжелой темной водой в квадратном бассейне, его окружавшем, в котором плавали пожухлые листья вперемешку с разноцветными бумажками и про-

чим мусором. Или огромный памятник в виде высоченной стелы, устремленной к небу, расположенный на противоположной стороне улицы в небольшом скверике, окруженном старыми домами. В основании этого памятника была кособокая, выложенная из бетонных плит звезда, из которой росли синие и оранжевые цветы, названия которых я в то время еще не знал. Или — громадная решетчатая ракета из стальных прутьев, возвышающаяся над детской площадкой соседнего двора, с острым конусом верхушки, до которой, казалось, невозможно добраться по этим металлическим перекладинам, до того эта ракета казалась высокой — и впрямь устремленной своим острием в бесконечную синь неба с безмятежно плывущими по нему ватными барашками облаков. Выше ее верхушки были только деревья и дома, столпившиеся вокруг детской площадки и, казалось, внимательно рассматривающие нас с мамой своими строгими и подслеповатыми старческими глазами-окнами, в которых отражалось солнце…

Мама была проводником в новый, неизведанный еще тобой мир — такой огромный, удивительный и прекрасный… Чудесным, разноцветным, многоголосым и завораживающе загадочным делала этот мир сама мама, как бы наполняя его своей светлой сущностью: своей «особостью», женственностью и красотой. Так я чувствовал в ту призрачную пору своей жизни, которая называется детством. Так я вижу все то далекое, родное и невозвратное своим внутренним зрением и теперь: мама для меня была и остается источником света, радости и счастья.

…Помню погожий июньский денек — самое начало лета. Только что прошел благословенный летний дождь. Он налетел внезапно вместе с ветром и невесть откуда взявшимися тучами среди, казалось, абсолютно ясного солнечного дня, громыхнул громом, разогнав со двора ребятню по своим подъездам и квартирам, и принялся неистово скакать вдоль и поперек по дворам, детским площадкам, кустам и дорожкам, и лил, как из ведра, добрые полчаса. Как будто небеса прорвало этим вот невесть откуда взявшимся среди июньского знойного полудня порывистым и неожиданно холодным ветром — и вылился из них на наши головы целый сезонный запас воды… Я со священным ужасом и замиранием сердца смотрел, прилипнув носом к окну, на эти бесконечные потоки воды, низвергавшиеся с небес, периодически приседая от неожиданно оглушительных раскатов грома, словно бы и впрямь с треском, как изношенную старую материю, рвущих небеса на части, подобно тому, как перед мытьем полов рвали на тряпки какую-нибудь ветхую простыню мама с бабушкой, и следил, как отдельные дождевые капли стремительно и извивисто, подобно слезам, скатываются сверху вниз по оконному стеклу с наружной его стороны. С каждым мгновением в комнатах становилось все темней и темней, и от суеверного первобытного ужаса замирало в груди мое маленькое сердечко… Но дома при этом было тепло и уютно, и где-то за спиной бабушка хлопотала возле плиты, нет-нет погромыхивая кастрюлями и чайником, и от этих звуков, привычных, домашних, быстро развеивался, улетучивался весь этот невесть откуда налетевший жестяной морок, враз сковавший все мои члены. А за окном, — батюшки-светы! — просто ад какой-то кромешный: темь и жуть, и плотная стена непрекращающегося дождя, сплошные белые полосы, словно кто-то невидимый и всесильный протянул через двор занавес из разнотонной материи, в одних местах — светло-серой, а в других — мутно-лиловой. Временами эти потоки водяных струй напоминали мне бешеную скачку небесных вороных коней — без дороги, наугад — испуганных чем-то или кем-то: кем-то невидимым, но огромным, сильным и беспощадным в своем яром гневе. Гулким цоканьем копыт этих неистовых пегих коней полнился наш двор. И особенно звонко они, эти копыта, стучали по жестяному козырьку подвала внизу, прямо под нашим балконом… И бег этих безудержных коней казался нескончаемым — бесконечным…. И не было уже никакой надежды на просвет в этой кромешной темени, неожиданно заполнившей собою все вокруг, а значит — на возвращение лета, солнца, тепла… Но через какое-то время с правой стороны начало постепенно светлеть небо, и дождь неожиданно пошел на убыль — его стена, еще минуту назад казавшаяся непробиваемой, потихоньку стала откатываться куда-то в

сторону, влево, за ближние дома. А вскоре уж и солнце уверенно проглянуло сквозь мокрую листву деревьев, и редкий уже, остаточный дождик стал похожим на слепой.

А когда я, надев в темном нашем коридорчике свои истоптанные сандалии на босу ногу, стремительно вылетел из квартиры и широкими шагами, перепрыгивая через две ступени, преодолел три лестничных пролета и выскочил на двор — ливень уже совсем почти перестал, иссяк. Только отдельные, запоздавшие капли все еще падали на козырьки подвалов и подоконники откуда-то с крыш и деревьев. И от этого мерного перестука казалось, что дождь все еще продолжается. Но каким удивительным — отчаянно ярким, новым и неожиданно прекрасным предстал теперь перед моим восторженным детским взором окружающий мир: все вокруг буквально сияло, лучась разноцветными бликами. А в бесчисленных лужах на асфальте, в которых купались голуби, отражалось ярко-синее, насквозь промытое дождем бездонное небо. Все вокруг полнилось необъяснимой радостью, счастьем и торжеством жизни. И где-то там, за дальним углом нашего дома, в столбе солнечного света сверкнула всеми своими семью плавно переходящими друг в друга цветами волшебная радуга-дуга. И я побежал в ту сторону, чтобы прикоснуться к этому чуду, а может, если повезет, оказаться внутри него, что ли… Но на то оно и чудо, чтобы неодолимо манить тебя к себе, а потом внезапно исчезнуть прямо перед твоим носом, подобно миражу, утреннему легкомысленному туману…

В общем, пока я шлепал своими сандалиями по лужам, радуга исчезла, испарилась в солнечных лучах, постепенно вошедшими в прежнюю свою силу. И я внезапно остановился прямо посреди двора, не добежав даже до крайнего подъезда, поняв, что радугу мне ни за что не поймать, не ухватить за разноцветный ее хвост. Потому что радуга — это нечто волшебное и чудесное, и это «нечто» невозможно потрогать руками, им можно только любоваться. И то недолго. Потому что чудо не может длиться вечно. Так же как и этот восхитительный летний день, который, едва только перевалив за полдень, неудержимо начинает катиться к закату. Такие вот грустно-философские мысли стремительно промелькнули в моей голове в те заповедные мгновения, пока я наблюдал за радугой и за тем, как она исчезла, растворившись в прозрачном, напоенном свежестью воздухе прямо на моих глазах. Пока я, наивный дурачок, бежал к ней навстречу. Вместо радуги в воздухе остались только разноцветные бриллиантовые звездочки, поблескивающие на влажных ветках тополей в солнечных лучах. И я застыл на месте, как вкопанный, чтоб подольше удержать в поле зрения эти самые звездочки, то тут, то там подмигивающие мне лукаво в потоках солнечного света, напролом идущего сквозь влажные ветви деревьев. И тут перед моим изумленным взором предстало новое чудо: прямо посреди этого солнечного столба подобно сказочному видению появилась мама! Любимая, ненаглядная моя мамочка… И да — мама в своем летнем светлом платье и впрямь была подобна солнечному свету: в тот осиянный миг свет исходил именно от нее, так мне казалось. И этот чудесный свет наполнил собой до краев весь наш огромный двор. И я, завороженный этим неожиданным «видением», этим неземным светом и парализованный внезапным щемящим чувством в груди, какое-то время просто не мог сдвинуться с места, наблюдая издалека, как грациозно, словно бы паря в воздухе, приближается ко мне моя мама… Это воспоминание, больше похожее на сон, на светлый фантастический сон — о солнечном летнем дожде, о чудесной радуге-дуге, какой ее рисуют в детских книжках, и о маме, словно бы плывущей в жемчужном, наполненном звоном разноцветных капель, падающих с деревьев, и насквозь пронизанном солнечными стрелами прозрачном колышущемся воздухе — сохранилось в моей душе на всю жизнь. Может, это и был сон — волшебный детский сон? В самом деле — такие яркие, цветные и счастливые сны, пожалуй, только в детстве и снятся. В нашем незабвенном и невозвратном детстве… Многое бы отдал, чтоб хоть краешком глаза сейчас заглянуть в те разноцветные свои детские сны. Только мама моя из этого сна была очень даже реальной — живой, настоящей, с неповторимым, «родным» запахом и с теплой ласковой рукой, прикосновение которой до сих пор явственно ощущаю на своей коротко стриженной голове…

— Сер-гу-у-ня, давай, сынок, просыпайся! Сегодня идем со мной в училище, посмотришь на моих ученичков, солидных уж дядек и теток… — слышу я сквозь сон ласковый и молодой мамин голос. Сердце вспархивает воробышком в груди: «Ура! Мама берет меня с собой на работу!»…

Еще не вполне проснувшись, я сажусь на кровати и упираюсь взглядом в старый наш шкаф с книгами, с которого заметно постаревшая в последние годы моя мама вытирает пыль, одной рукой приподняв старую нашу керамическую вазу, больше похожую на кувшин, светло-желтую, с большими аляповатыми цветами на толстых боках, служащую теперь все чаще для полива домашних цветов в горшочках, а не для роз, гвоздик и гладиолусов, что часто гостили в ней раньше — во времена моего детства в нашей квартире порой бывало много живых цветов, и не только по случаю первого сентября, которое в мамином училище было таким же торжественно-праздничным днем, как и у нас в школе.

Мама наконец оторвалась от шкафа с вазой и взглянула на меня, внимательно и ласково: «Ну что, сынок, проснулся? А твои-то давно уж поднялись — и успели позавтракать даже. А я сегодня, представь, иду на встречу с бывшими своими учениками в свое старое училище. Не забыл еще, как любил бывать в нем со мной, когда был маленьким? И твои Владик с Людой тоже вызвались поехать с нами, они, между прочим, уже собираются». Глаза мамины при этих словах наполнились лаской и любовью, совсем как когда-то, в далеком моем и невозвратном детстве, которое, похоже, снилось мне этой ночью. И от них во все стороны, подобно лучикам, расходились многочисленные морщинки. Милая, милая моя мама, когда же ты успела так постареть?

…И вот мы стоим перед маминым училищем, перед некогда высоченным его крыльцом в десяток широких ступеней, которые я когда-то с таким трудом преодолевал. Осталось где-то в далеких глубинах моего существа смутное чувство робости и неуверенности: вот эти десять невозможно крутых ступеней, которые надо во что бы то ни стало преодолеть, для чего требуется как можно выше поднимать ноги, чтобы не запнуться и не расшибить нос, как это, верно, и случилось однажды… Было или не было? Кто знает! Разве вспомнишь теперь — что там было, а чего не было, — через столько-то насыщенных событиями лет. И все-таки какое-то смутное, тревожное воспоминание осталось, связанное с этой вот самой лестницей и с этим парадным входом — в святая святых, на мамину работу… Мама в моем представлении, тогдашнем, наивно-детском, была важным и необыкновенно нужным человеком: ведь она была пре-по-да-ва-тель-ни-цей, что куда выше, конечно же, чем, скажем, простой школьный учитель. Она открывала своим ученикам — не школьникам, а вполне уже взрослым, на мой тогдашний взгляд, людям — премудрости интереснейшей профессии: радиста, в моем детском представлении — почти что волшебника, который с помощью столь обыкновенного устройства, как радиоключ, представляющего собой железную палочку с ручкой, закрепленную на небольшой деревянной подставке, отправлял в неведомые глубины радиоэфира, который в моем воображении был подобен бескрайнему ночному небу с мириадами рассыпанных по нему мерцающих звезд, отрывистые звуки морзянки: ти-ти-та-ти-та, в которых заключалось столько разной полезной информации. Да, эти загадочные шифровки, как в фильмах про разведчиков, столько всего важного должны были доносить до людей на «большой земле». Например, о том, что потребно членам экспедиции, засевшей где-то среди сплошных льда и снега на маленькой полярной станции, или какие ветра и холода надвигаются на наш материк со стороны Северного Ледовитого океана и чем это может грозить как людям, живущим на «большой земле», так и экипажам морских судов и самолетов, держащих курс к дальним берегам. Да, мамина работа была источником и генератором неисчерпаемых моих детских фантазий, из которых рождались всевозможные рисунки, неразборчивые записи и, конечно, смутные детские мечты — о путешествиях, о дальних загадочных краях и странах, о жизни отважных и мужественных

людей на удаленных от привычного нашего мира «точках», запрятанных среди нескончаемых снегов и вечной мерзлоты Крайнего Севера или, напротив, среди бесконечных песков азиатских пустынь. И в профессиональной подготовке этих вот самых людей, по сути, настоящих героев, участвовала и моя любимая мама.

Конечно же, я гордился ею, да разве ж и могло быть иначе. И с замиранием сердца каждый раз шел рядом с нею, стараясь не отставать и попадать в ногу, к ней на работу, в мамино у-чи-ли-ще, в котором было столько всего необычного и загадочного, и веселого, и интересного. Это было подобно путешествию в другой мир. Потому-то и стучало так учащенно мое бедное детское сердце каждый раз, перед тем как ступить мне на порог этого «дворца» с широкими окнами, в стеклах которого так по-детски бесшабашно играло солнце. Счастьем для меня было каждый раз оказаться перед этим вот его «парадным» крыльцом, перед высокими его и тяжелыми дверями в окружении пестрой и всегда задорно голосистой разноликой толпы маминых учеников, по большей частью — девчат… Но сначала нужно было преодолеть вот эти вот десять невозможно трудных ступенек парадного крыльца, которое теперь, конечно, уж не кажется столь высоким, как тогда. Да, так было когда-то — в незапамятные те времена, которые ныне, по прошествии стольких лет, сами по себе превратились в сказку, чудесную невозвратную сказку под названием «детство».

Теперь же крыльцо это парадное словно бы скукожилось, а «дворец», к которому оно ведет, и вовсе превратился в довольно неприглядное «типовое» здание советской заурядной «шараги», каких достаточно много, видимо, понастроено в нашей стране, со старыми, еще деревянными рамами окон и с отвалившейся местами штукатуркой на стенах. А мамины бывшие ученицы… Вся эта пестрая, бурлящая, вечно движущаяся и колышущаяся живая масса, состоящая сплошь из юбок, голых коленок, улыбок, озорных смешливых глаз, рыжих кудряшек, цепких рук и тугих черных и русых кос, беглых поцелуев в твою чувствительную макушку, а то и в щеки, бесконечных тисканий и усюсюканий, задорного переливчатого смеха… А еще — из дурманных запахов: отутюженной накрахмаленной форменной одежды, духов, кожи, лака, пота и плоти… В общем, всего того чувственного, женского, теплого, заповедного… Из цепких этих девичьих рук, объятий, запахов и улыбок так трудно бывало вырваться… А теперь, куда что подевалось! Маму обступили полукругом такие же, как и она сама… бабушки-старушки. Правда, густо накрашенные и напомаженные, нарядные и с пышными, подчас до нелепости, прическами — по случаю этой вот трогательной встречи, через годы, через расстояния, к которой, видимо, тщательно и загодя готовились…

Грустная, грустная картина. И в самом деле — куда что подевалось? От того прежнего, дурманящего, невозвратного. Где былой веселый девчоночий гомон, густо пересыпанный взвизгами и заливистым смехом, где все то неизъяснимое очарование живой женской массы, затягивающей тебя в самую свою середку? Где тот восторг молодости, красоты, нерастраченной энергии? И, главное, главное — где та, самая красивая на свете моя мама, которая была для меня сродни какой-то мифической богине, особенно, когда по обыкновению ждал — высматривал ее на углу дома, на пригорке, вечером, в долгожданный тот предзакатный час, когда уж подходило время возвращаться ей со своей работы. И ее появление вдалеке, в сквере, притаившемся в проеме меж домов, ее плавное парение среди деревьев в круге света было подобно весеннему половодью, первой летней грозе, этому слепому июньскому дождичку, только что щедро полившему газоны и асфальтовые дорожки в нашем дворе… И радуге, неожиданно вспыхнувшей в лазурном, колышущемся воздухе за углом твоего дома, в просвете между деревьями и соседними домами. Где, ну, где же, скажите, все это чудо, которое когда-то наполняло мою жизнь безграничным светом и счастьем?

Я непроизвольно притянул к себе, положив руку на острое мальчишеское плечо, своего двенадцатилетнего сына. Мне нужно было в это тонкое невесомое мгновение, вот-вот готовое разрешиться предательской слезой, хотя б на кого-то опереться, на кого-нибудь родного,

надежного. И хорошо, что рядом оказался мой стремительно взрослеющий сын Владислав, как считают многие, чуть ли не полное подобие меня самого — тогдашнего смешного мальчугана из моих смутных воспоминаний и снов, которым уже почти что сорок лет… Воспоминаний, теперь больше похожих на какую-то чудесную волшебную сказку — из тех дивных красочных книг, что когда-то читала мне моя милая бабушка.

…Но мальчик тот ведь был на самом деле, гонял когда-то, как заводной, по этим вот лестницам и коридорам и потому он так же реален, как и эти старые стены, которые помнят тебя совсем еще маленьким, а маму — молодой, веселой и ослепительно красивой. В общем, такой, какой она навсегда осталась на старых фотографиях в толстом нашем, тоже старом, с потертыми зелеными корочками из плюша фотоальбоме. Только вчера ты перебирал не торопясь под мягким светом желтого абажура эти старые фотографии. И невольно вздрогнул, наткнувшись на необычайно серьезный, из-под не по возрасту густых бровей, взгляд того самого мальчика, каким когда-то был сам. «Откуда столько недетской серьезности и даже как будто скорби в этом мальчишеском чистом взгляде»? — подумал ты. Но на следующей фотографии тот же самый мальчик расплылся в счастливой улыбке, обнажив недостаток зубов во рту… Если бы кто-то задался целью продемонстрировать, что представляет из себя абсолютное счастье — можно было смело брать и показывать вот эту самую фотографию. Этот маленький человечек на пожелтевшей по краям фотографии светился неподдельным счастьем. А все потому, что по другую сторону от фотообъектива была мама — она тоже улыбалась мальчику из-за зазеркалья, из того угла, который остался по другую сторону реальности, улыбалась, как девчонка, кривляясь и дразнясь: «Беззубая та-ра-ра!»

— Па-а-ап, может, уже пойдем отсюда!» — настойчиво потянул меня сбоку за рукав мой сынишка.

— Пойдем, сынок, — согласился я.

Мы вышли на улицу, спустились по широким ступенькам парадного крыльца и завернули за угол белокаменного массивного здания училища. Прямо перед нами вверх забирала широкая асфальтовая дорога, по которой проезжали редкие в этой стороне машины, а вправо на небольшое взгорье уходила узкая тропка, протоптанная среди сочной июньской травы. Тропинка эта была ровесницей моих воспоминаний. «А вот и старая добрая знакомая», — мысленно удивился я. А вслух сказал, притянув к себе сына: «А, хочешь, сынок, я покажу тебе двор своего детства?» — «Конечно, папа, хочу», — откликнулся непривычно серьезный, словно бы и на него обрушились какие-то свои смутные воспоминания, мой неожиданно повзрослевший сын.

Я тихонько прижал его к себе, ласково потрепал по русой голове и мы стали вскарабкиваться по крутой этой тропинке на холм, где возвышалась серенькая безликая пятиэтажка, в которой раньше, кажется, была училищная общага. А за ней еще одна, и еще… За рядом этих одинаковых, нагроможденных друг над дружкой типовых блочных домов выделялся светлым пятном «современный» роддом, огороженный бетонным забором, в котором родился мой младший брат Максим. А случилось это, когда мне было столько же примерно лет, как сейчас моему сыну Владу. С того момента жизнь моя круто изменилась. Золотое время безоблачного и безгранично счастливого детства, когда я был главным объектом всеобщего внимания в нашей маленькой семье, а мама — моим «небесным светом» и центром моего мироздания, увы, закончилось с рождением маленького братишки. Да, с того момента точки притяжения, как и в целом расстановка планет в семейной нашей солнечной системе, кардинально сместились. Впрочем, и солнце, которым до сего дня для меня, повторюсь, всегда была мама, — както враз потускнело, а временами и вовсе перестало светить. С того времени для меня самым главным и родным человеком стала бабушка. Впрочем, скорее всего, так было всегда. Но это уже совсем-совсем иная история. И связана она уже в большей мере с другим нашим домом,

вернее, квартирой, другими дворами и, значит — совсем другими картинами и воспоминаниями.

…И вот я веду своего сынишку, так похожего, если судить по тем же фотографиям из старых семейных альбомов, на меня самого — тогдашнего, смешного и до бесконечности счастливого мальчугана — в мир моего канувшего в Лету детства, очень-очень надеясь на то, что от него хоть что-нибудь да осталось. Ну, хотя бы какой-то осколочек, старые скрипучие качели, что ли. Или песочница, или хотя бы знакомое углубление на асфальте, в которое когда-то все время предательски попадало колесо моего велосипеда с гордым названием «Школьник». Или какой-нибудь кустик за домом, за который я прятался от своих дворовых друзей-товарищей в обнимку со своим пластмассовым ружьем во время игры в «войнушку». Я очень надеялся в этот момент, что мой старый двор не обманет наши с сыном ожидания и хотя бы чем-то напомнит о том мифически далеком времени, в котором растаяло мое безоблачное и бесконечно счастливое детство… Ведь двор-то наш должен — должен же помнить меня! Как и я помнил его своей душой, лелея его во снах и смутных своих воспоминаниях.

«Должен, да не обязан!» — мысленно одернул я сам себя бабушкиными словами. Я-то ведь хорошо знал, что ничего прежнего там, в моем дворе, где прошло детство, уже не осталось. Ведь обжегся уже на этом однажды! До определенного времени всякий раз по приезде в родной свой город, особенно зимой, я имел обыкновение наведываться в свой старый двор, как бы совершая «круг почета» по местам своего «легендарного» детства: школьный двор, затем проулок до поворота к домам, и вот, наконец, старый знакомый — остов нашего пятиэтажного дома, когда-то казавшегося огромным кораблем, а теперь — притаившегося под пышной снежной шапкой, как у Деда Мороза, и поглядывающего удивленно усталыми стариковскими своими глазами из-под пушистых бровей — снежных наметов на оконных козырьках и перилах балконов. Среди ранних зимних сумерек (отпуск мой чаще всего приходился на средину зимы) я, бывало, подолгу стоял в сторонке, прислонившись боком к старому тополю у школьного забора, и всматривался в окна своей бывшей квартиры во втором этаже. Дожидался, когда зажжется в одном из окон свет, как бы угадывая, как там теперь и кто там живет сейчас в нашем бывшем жилище, где столько пережито и передумано, где остались все мои детские сны и мечты, так похожие на сказки… Да, посещение этого затерянного среди старых пятиэтажек-хрущовок двора стало для меня в определенный период своеобразным ритуалом: каждый приезд в родной город я обязательно приходил сюда, чтоб постоять вот так, проникнуться прошлым, подзарядиться и набраться душевных сил, так сказать, для новых свершений и побед. Но однажды, в очередной свой приезд, а было это где-то в начале марта, когда уже зима зримо начинала уступать место весне и дни стояли, хоть и все еще морозные, но уже сплошь по-весеннему солнечные, я оказался в этом дворе задолго до наступления сиренево-алых мартовских сумерек и, к своему немалому изумлению, не ощутил привычного уже для себя «погружения» в прошлое, в детство. Дом наш бывший показался мне тогда, в закатных лучах жизнерадостного мартовского солнца, каким-то серым и неприглядным, в общем, ничем не отличающимся от остальных таких же «хрущоб», по-стариковски столпившихся вокруг. Но, главное, наш балкон застеклили, причем, не деревом, а белым бездушным «сайдингом». И он сразу же отчего-то стал отталкивающе чужим. Некогда огромные сугробы, отделявшие асфальтовую дорогу от детской площадки, теперь едва доставали мне до колен, от самой площадки и вовсе ничего не осталось, на ее месте рядочком выстроились мусорные баки. Но, главное, окрестные дома, надежно ограждавшие когда-то своими «могучими» спинами наш двор от внешнего мира и превращая его в уютный, почти заповедный уголок, теперь словно бы расступились, открыв со всех сторон улицу и соседские проходные дворы. Былое очарование враз улетучилось. И ничего — ровным счетом ничегошеньки с этим нельзя было поделать…

И вот теперь, направляясь с сыном к своему старому двору, где по моему разумению должно было поджидать меня мое заревое детство, я рисковал наступить во второй раз, как

говорят, на одни и те же грабли и испытать при этом жестокое разочарование: ведь нельзя же вернуть то, что однажды уже закрыло перед тобой свои двери. Двери в волшебную страну детства, где остались самые сокровенные тайны и заповедные мальчишеские мечты.

— Однако надо было хотя бы кого-то предупредить, что мы с Владом уходим, — спохватился я. И, обернувшись к сыну, попросил:

— Позвони, пожалуйста, маме и скажи ей, куда мы пошли!

Но это оказалось лишним: моя жена махала нам рукой с противоположной стороны улицы и что-то кричала вслед, она была уже возле белой глыбы роддома, то есть, получается, все это время тенью следовала за нами. «Ну и пусть, — мысленно успокоил я сам себя, — пусть будет как будет».

…И пусть я уже не найду в том заповедном уголке моего канувшего в Лету детства знакомых только мне одному примет, пусть в душе не проснется былой мальчик, которым когда-то был я сам — зато я покажу своему подросшему сыну места, где начинался мой жизненный путь, откуда идут мои первые внятные воспоминания о себе и об окружающем мире. Самые чистые и светлые воспоминания. И где, возможно, остался хоть один камушек или бордюр, да пусть хотя бы трещина на асфальте, которые еще помнят мои резвые, некогда сплошь покрытые синяками и ссадинами ноги в грубых «скороходовских» сандалиях. В конце концов, остались же в нашем дворе старые тополя, которые как раз вот об эту пору густо устилали весь асфальт мягким пуховым ковром, — они-то уж точно были и остаются немыми свидетелями моего постепенного превращения из жизнерадостного ребенка-дошкольника в нескладного и ершистого подростка. Такого же, в общем, каким к нынешнему дню стал мой собственный сын, отчего-то непривычно присмиревший теперь. На удивление тихо, без привычной россыпи возражений и вопросов по всякому поводу, он молча следовал за мной незаметной тенью. Как будто и он что-то такое почувствовал!.. Я снова приобнял моего Владьку за плечи — и мы двинулись на приветливо зажегшийся с противоположной стороны дороги зеленый огонек светофора через проезжую часть улицы Сибиряков-Гвардейцев. Мы были практически уже у цели. Вот и добротный угловой дом, «сталинка», облицованный снизу крупным шероховатым серым камнем. На первом этаже его по-прежнему располагается хлебный магазин, причем все с теми же витиевато-ажурными, как в старых моих детских книжках, буквами над входом: «Хлеб». Хотя бабушка почему-то называла его «булошной». Именно так и говорила: «Бу-лош-ная», с мягкой московской «ш» посредине, в очередной раз посылая меня за хлебом, скрупулезно при этом отсчитывая мелочь… И тут я ощутил, как привет из детства, густой хлебный аромат, характерный для таких вот старых «булошных», который мы с мальчишками чуяли уже за несколько десятков метров до заветных дверей в магазин. На сэкономленную сдачу я по обыкновению покупал себе сдобную булочку по три копейки, облитую сверху белой сладкой помадкой и, едва выйдя за порог хлебного магазина, в первую очередь разделывался с этой самой помадкой. А если в кармане брюк отыскивалась зажиленная с прошлого похода «по хлеб» трехкопеечная монетка, то она немедленно отправлялась в щель расположенного тут же, у дверей магазина, автомата с газировкой. И я, давясь своей булочкой, завороженно наблюдал, причем каждый раз словно впервые, как посверкивающий на солнце граненый стакан постепенно, с характерным шипением наполняется газировкой, приправленной душистым грушевым сиропом. Каким же это было наслаждением: уплетать прямо посреди улицы необыкновенно вкусную трехкопеечную сдобную булку и запивать ее сладкой шипучкой. Ну и доставалось же бывало мне от бабушки вот за эти уличные несанкционированные «пиры», да еще и в компании с дворовыми моими дружками. Какая-нибудь излишне бдительная наша соседка по подъезду нет-нет, да и доносила моей бабуле, а то и маме о наших этих уличных спонтанных пиршествах возле «булошной».

Не знаю почему, но, дозволяя мне практически все на свете и нещадно балуя меня, бабушка была беспощадна в своем «праведном» гневе, если речь заходила о таких вот уличных перекусах — «кускохватаниях», как она их называла.

— Зачем ты позоришь нас с мамой перед людьми? — выговаривала мне бабушка, строго сдвинув густые свои смоляные брови. — Неужели тебя дома недостаточно хорошо кормят? Или у нас совсем нечего есть?

И в самом конце «пропесочки», видя мое неподдельное изумление и наворачивающиеся слезы, уже мягче добавляла:

— Ведь можно же было принести ту же булку домой и съесть ее по-человечески — с чаем!

И вот как, скажите, можно объяснить бабушке, что нет ничего вкуснее только что привезенной с хлебозавода, еще теплой сдобной булки, съеденной вот именно что на улице, в трех шагах от «булошной», да еще если запить ее сладкой газировкой из автомата (О, ужас, ужас! — ведь из этих стаканов пьют всякие алкаши!). Вспоминая обо всем этом, проворачивая в голове и душе, порядком уж отвердевшей, местами даже закостеневшей на нелегких житейских путях-дорожках, все эти цветные картинки детских своих воспоминаний, я как бы становился на какое-то мгновение тем чистым, наивным мальчуганом, которым был когда-то давным-давно, в золотое и, увы, невозвратное время своего детства.

Я окинул неторопливым взглядом весь этот добротный дом послевоенной еще постройки — и он снова поразил меня своей неохватной громадой, солидным и даже чопорным своим фасадом, ну в точности как бывало в незабвенном моем детстве. Я сжал в своей руке холодную ладошку сына и двинулся вдоль этого огромного дома-стены дальше — туда, где в этой стене должна была быть брешь в виде огромной каменной арки в три, никак не меньше, этажа высотой и с огромными чугунными воротами, украшенными диковинными сферическими узорами с расходящимися от них во все стороны стрельчатыми лучами. Бывало, мы бежали с мальчишками со всех ног от того же хлебного магазина с гиканьем и криками, стараясь во что бы то ни стало перегнать друг дружку, чтоб тому из нас, которому больше повезет, пусть хоть на полшага, но непременно вырваться вперед и первым запрыгнуть в эти ворота и со всей силы захлопнуть перед носом у отставших товарищей огромную эту чугунную калитку, да еще и придавить для верности ее снизу ногой, удерживая, сколько это было возможным, натиск оставшихся по ту сторону калитки своих друзей. Это было по-своему магическим в твоем понимании действом: ведь ты, если только повезло, первым оказывался во владениях своего двора, которые как бы охранялись всеми известными тебе из сказок и фильмов героями, а также всякими добрыми феями и волшебниками из тех красочных старых книг, что читала тебе когда-то бабушка. Тогда как друзья твои оставались на «неохраняемой» территории фактически беззащитными перед всякой-разной нечистью и злыми духами. При этом калитка стукалась о ворота с такой силой, что и по двору, и по улице еще долго плыл тяжелый протяжный звук, подобный набату или даже церковному колоколу. Как в фильме об Александре Невском, когда под такой вот звук набата весь честной люд сбегался на центральную городскую площадь. К нам же, бывало, тоже сбегались люди — в основном возмущенные тетки и старухи, просиживающие дни напролет на лавочках у своих подъездов. Случалось, как из-под земли появлялась злая дворничиха с метлой, сухая морщинистая старуха с красным мясистым носом и с вечно недовольным злобным взглядом из-под кустистых бровей, которую почему-то все литературно звали Салтычихой. В таком случае нужно было нам удирать со всех ног врассыпную от этой самой дворничихи, дабы не получить по спине метлой. И в более выгодном положении были в таких случаях те из ребят, которые скорее других оказывались по ту сторону от калитки, на улице.

Мы с Владом дошли наконец до арочного провала между домами и оказались перед той самой чугунной ажурной калиткой с круглыми цветами-солнцами. Я взялся рукой за шершавый металлический лепесток и почувствовал тепло, исходящее от него, — оно враз наполнило

все мое естество. Боже-боже, со времени детства прошла уже бездна времени. Одна эпоха сменила другую, и сейчас, кажется, наступала новая. Столько всяких радостей, бед и потрясений довелось пережить нам всем вместе с нашей бедной страной за это время. И сколько металла, даже с охраняемых государством памятников и монументов, пошло за эти годы в металлолом, а ворота эти, гляди-ка, устояли. И впрямь ведь — чудо какое-то. А за ними притаился заповедный мир моего детства. И чтобы попасть в него, осталось сделать самую малость — слегка подтолкнуть рукой вот эту чугунную калитку, украшенную дивным, языческим каким-то узором. Но я отчего-то все медлил и медлил, как будто оказался перед священным местом, перед входом в храм, и неожиданно смутился, внутренне засомневавшись: достоин ли войти в эту «святую обитель», не рассеется, не исчезнет ли вот это хрупкое ощущение таинства и чуда, которое сейчас снизошло на меня, всецело завладев моим существом?

— Папа, ну что же ты, идем дальше! — подтолкнул меня сбоку мой сын, и я наконец отворил пронзительно скрипнувшую калитку и сделал этот решающий шаг с улицы во двор. В пределы «охранной территории», где злые силы, по нашим давнишним детским представлениям, теряют свою власть и ты оказываешься защищенным от всех бед, угроз и напастей. Ну, кроме, разве что, риска быть застигнутым врасплох всегда чем-то недовольной дворничихой Салтычихой. Но это ведь совсем-совсем другое. Салтычиха, хоть внешне и напоминала Бабу Ягу, на самом деле была все равно доброй, это понятно было даже нам, мальчишкам — ведь из ее «ведьмовских» глаз даже в мгновения самого страшного гнева все равно исходили теплые лучики, и такие вещи ребятня очень даже тонко чувствует, как раз в этом плане она куда прозорливее своих вечно спешащих куда-то родителей… Не-е-т, зло на самом деле было совсем-совсем другим, и оно обычно пряталось как раз под внешне доброй личиной какого-нибудь излишне учтивого дядьки, внезапно останавливавшего тебя прямо посреди улицы и задававшего самые неожиданные вопросы. И это мы с мальчишками тоже уже знали, и не только от своих родителей и бабушек…

Я наконец переступил через чугунную перекладину старых этих ворот и, едва коснувшись ногой асфальта, услышал мягкий удар колокола откуда-то из глубины двора: «Бом-м-мм!» А следом еще один, и еще… И снова замер от неожиданного этого колокольного звона, встретившего нас с сыном на самом пороге «страны детства», как будто и впрямь оказался в святой обители, в заповедных владениях старинного монастыря.

— Папа, а что здесь где-то рядом есть церковь? — осторожно поинтересовался сын.

Значит, не показалось, отметил я про себя, а вслух сказал:

— Раньше не было точно — откуда здесь взяться церкви? А теперь — кто знает, может, и есть. Как говорится, свято место пусто не бывает…

Мы вошли в уютный солнечный двор, окруженный со всех сторон старыми, во многих местах облупившимися домами — словно бы строгими, но добрыми при этом стражниками из «Сказки о потерянном времени». Посреди двора, на своем прежнем месте, раскинулась во все стороны детская площадка с традиционными песочницей, качелями, лавочками и металлической решетчатой ракетой, водруженной в самом ее центре. Повсюду вокруг площадки остались пеньки от старых тополей. Я, конечно же, помнил, что наши дворы были сплошь засажены тополями. И еще хорошо помнил, как же мы, «беспризорные» мальчишки, любили поджигать тополиный пух, густо свалявшийся вдоль бордюров по краям тротуаров. Огонь весело вспыхивал то тут, то там, и хищные язычки пламени бежали навстречу друг другу, стремительно пожирая белую вату и оставляя за собой черную выжженную дорожку. Это было запрещенным баловством, и мы ежесекундно рисковали получить взбучку все от той же Салтычихи. Но разве ж это когда-то останавливало вошедших в раж мальчишек? Да, остановить нас тогда могли лишь самые радикальные меры, как, например, официальная жалоба на адрес школы или угроза привода в опорный пункт милиции, который был неподалеку, в полуподвале соседнего дома. Но все это применялось взрослыми, как я понимаю, в самых крайних случаях, и то

больше для острастки. Уже от самого вида людей в милицейской форме у нас, бедолаг, начинали предательски дрожать коленки, сами собой наворачиваться на глаза слезы и мы, размазывая их по лицу грязными кулаками, умоляли наших задержателей «простить и отпустить» и, главное, не рассказывать об инциденте родителям, клянясь, что это было в самый последний раз… И вот, как оказалось, нашелся способ и покруче: как говорится, нет тополей — нет и проблемы. Во как! Хотя, если честно, без старых деревьев двор стал светлее и оттого как будто новее, что ли. Но вот беда: не было в нем сейчас отчего-то ни ребятни, ни всегдашних старух на лавочках, от которых нам так доставалось когда-то. А так как будто все то же, все так же, как было когда-то, в ту далекую пору, когда деревья были большими. Я оглянулся вокруг и неожиданно почувствовал, как закружилась голова, как будто бы хватанул сдуру большой, в полстакана, глоток крепленого вина, как не раз бывало в юности, в старших классах, перед самым уже выпуском, и потом — в студенческие развеселые годы. И не в силах совладать с неожиданным этим головокружением, я опустился на низкую лавочку посреди детской площадки. Рядом тотчас же примостился мой сын Влад. Это был еще не наш, вернее, не мой бывший двор, а соседский — до нашего нужно было еще пройти вдоль того дома, к торцу которого мы сейчас сели спинами, и подняться на покатую горку. Но и этот двор, конечно же, тоже входил в пределы наших, с моими тогдашними друзьями-однодворцами, владений. Где же теперь все те сорванцы-мальчишки, чьи звонкие задорные голоса, наверное, все еще помнят эти старые дома, их облупившиеся местами стены из светлого кирпича? Словом, эта территория также была частью той заповедной страны, которую я только что мысленно назвал «страной детства». Более того, этот вот двор мне всегда нравился больше моего собственного. Ну, хотя бы потому, что дома здешние отличались от наших «типовых» пятиэтажек: они были старее и осанистей, что ли. И потому, видимо, казались нам какими-то особенными, словно бы несли в себе какую-то невысказанную печаль и тайну, постичь которые было не под силу еще нашим юным, неопытным сердцам. Мне, например, всегда нравились не совсем уж заурядные, как, например, в нашем доме, а более солидные, что ли, подъезды. Такие вот, как в этих старых домах. Нравились мне большие, поделенные рамами на квадраты окна в этих подъездах. И широкие просторные лестницы, ведущие в их прохладный сумрак. Но особенно мне были по душе круглые окошки вверху, над этими самыми подъездами, располагавшиеся выше последних этажей — под самой крышей, и как бы венчавшие их общую затейливую «архитектурную» композицию.

В угловом подъезде, что был сейчас аккурат за моей спиной, жил когда-то мой друг Игорь Селиванов, учившийся в параллельном классе. Жил он, как и я, с мамой и бабушкой. Мама Игорева преподавала в НЭТИ, электротехническом нашем знаменитом институте, а бабушка, как и моя, была всегда дома, на хозяйстве. И так же, как и моя, бывало, когда мы забегали за чем-нибудь к нему домой, на четвертый этаж, привычно предлагала нам чаю с печеньем и конфетами, но прежде — обязательно тщательно помыть руки. Это было непреложным законом всех наших бабушек и мам… А пока Игорь пропадал на какое-то время в конце длинного сумрачного коридора своей солидной, «профессорской» квартиры, я с замиранием сердца рассматривал разноцветные корешки книг, которые, как магнитом, притягивали меня к себе и которыми с полу до потолка (аж под три с половиной метра высотой!) были заполнены застекленные книжные стеллажи, занимавшие всю «глухую», тянувшуюся от входной двери и до поворота в кухню стену. От обилия самых разнообразных книг, начиная с подписных изданий «классики» и не заканчивая, конечно же, разноцветными томами «Библиотеки приключений», у меня просто перехватывало дыхание. Я бы, наверное, так и стоял, как йолуп царя небесного (привет от любимой бабушки!), с открытым ртом, таращась жадными глазами на все это несметные книжные сокровища, если б из темного конца коридора не появлялся в какой-то момент Игорь и не увлекал меня за собой ко входной двери, а затем и дальше — на бескрайние просторы наших перетекающих друг в друга дворов со всяческими укромными, «потайными»

местами, оборудованными нами, например, в проемах среди гаражей, где мы устраивали свои партизанские землянки, явочные квартиры и штабы…

В соседнем, расположенном перпендикулярно к Игореву доме, в крайнем, только с другого конца, подъезде жил мой одноклассник Андрей Чернышов по прозвищу Черныш, который был выше и крупнее меня раза в полтора. У него был такой же высокий и крепкий отец: он ходил в исследовательские экспедиции на китобойных судах и потому в квартире у Андрея было много чего интересного и диковинного — разные приборы, карты, планшеты и бесчисленные фотографии, на которых были сплошь корабли, море и, конечно же, сам Андрюхин папа в самых разных ракурсах: на палубах огромных судов дымчато-серого цвета и на берегу, в основном — в теплом, с меховой подкладкой, длинном плаще и в огромной полярной шапке-ушанке на натуральном меху. Все это: и приборы, и карты, и фотографии — просто завораживало нас, пацанов, дворовых и школьных друзей Андрея. И мы все ему немного завидовали. Не у всех же отцы ходят в полярные исследовательские экспедиции. Тем более что у многих вообще не было отцов.

А вот бабушка моя не слишком-то поощряла эти наши хождения «по гостям», ну разве что по крайней какой надобности, например, узнать уроки на завтра, если по какой-то причине пропустил занятия, или как решать трудную задачу по математике. А так — нет: нельзя и все! И потому мы большую часть своего времени проводили на улице, гоняя друг за дружкой по этим вот старым проходным дворам с криками: «Вперед, в атаку! Ура-аа-а!»…

— Па-ап, — окликнул меня сбоку Влад.

— Что, сынок?

Сын внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел в лице моем увидеть, распознать что-то совершенно иное, что сокрыто от посторонних глаз.

— Пап, а ведь ты, когда был таким же, как я сейчас, может, даже меньше, наверное, бегал по этим дворам со своим друзьями, играл на этой вот самой площадке. Это же правда?

— Да, это правда, сынок, — я снова притянул к себе моего сына, который, кажется, именно сейчас задумался о вечных тайнах жизни, о непрестанном движении времени, которое все постоянно преображает и меняет вокруг, и об удивительном свойстве человеческой памяти, в которой все всегда сохраняется таким, как было когда-то раньше.

Невыразимое, трепетное, как первоцвет, чувство мы испытали в эти несколько невесомых мгновений одновременно с моим враз повзрослевшим сыном, сидя в солнечном старом дворе на низкой лавочке посреди детской площадки. Словно бы на это короткое время мы слились в одно целое: наши мысли и чувства стали общими, перетекая от сердца к сердцу и наполняя наши души ощущением какого-то необъяснимого чуда. Сам я словно бы враз уменьшился в два раза, став вровень со своим сыном, отчего испытал необыкновенную легкость во всем теле, будто освободившись от долгое время сковывавших все мои члены невидимых, но непомерно тяжелых оков. Душа взметнулась невидимой пташкой к небесам, и такую легкость я тотчас почувствовал во всем своем теле и, главное, внутри себя, что и самому впору было б взлететь подобно воздушному шарику над этим старым двором, над домами и деревьями, над всем этим бренным и столь дорогим моему сердцу миром… В эти несколько драгоценных мгновений я в полной мере ощутил в себе того мальчика, каким когда-то, давным-давно, был сам. И даже обступившие нас дома как будто стали шире и выше в этот заповедный таинственный миг, заслонив своими спинами само небо. И я вдруг поплыл, и душой и мыслями, да и в целом всем своим существом устремившись в далекие, манящие дали, на просторы своего безоблачного детства, и впрямь на какой-то миг почувствовав себя мальчишкой и пережив в этот трепетный миг совершенно непередаваемые эмоции и чувства, связанные с одним затерявшимся в дальних закоулках памяти эпизодом…

…Всех ребят, моих друзей, мамы давно уж позабирали домой обедать, а я остался один-одинешенек посреди двора, меня почему-то никто не звал к обеду. А небо тем временем уже

сплошь затянуло тучами и вот-вот его рассечет пополам зигзагообразная молния, а следом, после небольшой паузы, грянет гром, и оно прорвется вкривь и вкось, как изношенная тряпка, и на землю хлынут потоки дождя, теплого, долгожданного, всеочищающего и всё искупающего, как внезапные детские слезы. И вот этот заповедный, страшный этот миг, когда я остался один, всеми забытый, никому, ну никомушеньки просто не нужный посреди нашего враз опустевшего и притихшего двора, который, как космический корабль за секунду до старта, тоже словно завис в этом мгновении, — этот бесконечный миг все длился и длился. А я с замершим, словно над бездной, сердцем отмечал про себя, как все вокруг, хоть и медленно, как будто при замедленных киносъёмках, но все же продолжает двигаться: как бесшумно клонятся вправо ветки деревьев вверху, у самых макушек, как молодая, незнакомая мне женщина в коротком, картинно развевающемся на ветру цветастом домашнем халатике, содрав с бельевой веревки последнюю тряпку, со всех ног припускает к среднему подъезду, но движения ее, как и все вокруг, замедленны, и оттого необыкновенно грациозны. И до того это все было красиво и необычно, что я так и застыл посреди двора истуканом, не в силах просто оторвать глаз от завораживающей этой картины: от хлопающих на ветру подъездных разболтанных дверей, от клонящихся, как по команде, деревьев, от этих ослепительно белых женских ног, заголявшихся временами почти что до основания, когда в такт шагам незнакомки порывисто распахивался этот чертовый ее халатик… И нежданные, совершенно беспричинные слезы таки наворачиваются на мои глаза в этот кульминационный миг, длившийся, казалось, целую вечность. … Последний самый миг перед оглушительным, как водопад, ливнем, долгожданным, всё очищающим и всё-всё поглощающим под нещадными своими струями — и прошлое, и настоящее, и эти вот мои внезапные детские слезы вперемешку с соплями…

— Сережа, Владик, идите скорей сюда, — донесся до нас со спины окрик моей жены и матери моего сына — Милы. Ее неожиданный вскрик и впрямь был подобен грому среди ясного неба, прорвавшего тонкую пелену, отделявшую нас с Владом в этот заповедный, затянувшийся до бесконечности миг от реальности, и мы одновременно оглянулись, уставившись недоуменными, все еще отсутствующими взглядами в сумеречный провал между домами, с застывшим в этих взглядах одинаковым вопросом: «Что случилось?»

Мила фотографически замерла в столбе света среди каким-то чудом уцелевших старых раскидистых тополей, как дивный стебелек, саженец какого-то нездешнего диковинного деревца — вся такая юная, свежая, с потоками струящихся по плечам ржано-золотистых, слегка вьющихся волос, в своей «вечной» подростковой джинсовой юбке много выше колен, ярко-желтой футболке, так выгодно подчеркивающей солнечность, светозарность всего ее трепетного драгоценного облика. Не женщина, а девчонка-старшеклассница из моих туманных юношеских снов.

— Ну, наконец-то я вас отыскала! — донеслось до нас из глубины междомового этого сквера, выходящего на проезжую улицу. Что удивительно, говорила она, вроде, не повышая голоса, но при этом словно бы находилась в нескольких всего шагах от нас, на расстоянии вытянутой руки — настолько четко и близко, казалось, звучало каждое ее слово: «Ну, идите же скорее сюда, посмотрите, какая красота!..»

И в этот самый момент с той стороны, где была Мила, снова ударил колокол: «Бум-бомба-аам!» Этот завораживающий, медленно растекающийся по округе звук заставил нас с Владом разом очнуться от своего полусна и двинуться в сторону сквера, где поджидала нас наша мама.

И уже через несколько шагов нашим глазам открылась неожиданная (особенно, для меня) и удивительная картина: посреди сквера, окруженного с трех сторон домами, на аккуратно забетонированной прямоугольной площадке метра полтора в высоту, как на постаменте, возвышалась небольшая белая часовня с золотой боярской шапкой-куполом, увенчанной, как и положено, золоченым крестом.

Церквушка и впрямь оказалась неожиданно красивой, как стройная белая невеста, бог весть каким образом очутившаяся посреди обыкновенного городского скверика, устроенного в тесном проходе между домами, на том самом месте, где раньше был заурядный дворовой фонтан с полуржавой трубой в центре, торчащей из крашенного бордовой краской бетонного конуса. Столь же ядовитой краской были выкрашены и стенки этого вечно замусоренного палыми ветками и листьями вперемешку с бумажками и окурками бассейна. Бумажки эти, за редким исключением, в основном были наспех выдранными из школьных тетрадей листами, либо в клетку, либо в косую линейку, из которых ребятня по пути из школы домой массово, наперегонки мастерила бумажные кораблики и запускала их в этот незатейливый водоем. Намокая, эти легкие и малоустойчивые парусники, похожие на смутные наши мальчишеские сны, быстро теряли свои плавучие способности и неизбежно шли ко дну, постепенно замусоривая этот странный «коммунальный» фонтан. Сейчас же этот бассейн был полностью, под ноль, забетонирован, превратившись в ровную площадку-возвышение типа подиума, на которую можно было подняться лишь с одной только, парадной, стороны по широким бетонным ступеням.

Мы поднялись по ним на этот самый подиум и подошли к часовне, на которой выделялась позолоченная, как на кабинетах начальства, табличка. На ней черным по золотому шла надпись: «Часовня в честь Владимирской иконы Божией Матери, возведена в 2004 г. и освящена настоятелем….»

— Ты видел, ты знал, тебе нравится? — обрушила на меня поток вопросов, подобный пулеметной очереди, моя жена.

Я лишь неопределенно пожал плечами — дескать, откуда же я мог знать, если часовня эта сооружена значительно позже того момента, когда я побывал здесь последний раз — лет десять, а то и больше назад.

С тех пор, как я перестал находить в этих местах, во дворах этих старых отзвуки и следы своего детства, я перестал их и навещать. И кто бы мог подумать, что теперь, когда я появился здесь вместе со своим подросшим сыном, все так неожиданно вернется… Как наваждение, как весеннее половодье…

— Мама, а ты ведь все испортила, — тихо, с каким-то пронзительным чувством вымолвил мой сын Владислав.

— Ну, конечно, — развела руками Мила, — я их обыскалась, обежала почти все окрестные подворотни. И что в результате? Я же, как всегда, все и испортила!

Я снова притянул к себе своего повзрослевшего и так тонко все чувствующего и понимающего сына и, потрепав его по вихрастому затылку, тихо сказал:

— Не обижай маму!

Влад вместо ответа посмотрел на меня так пронзительно, что я почувствовал, что и у него, неровен час, как до этого у меня самого, вот-вот навернутся на глаза предательские слезы.

— Не обижай маму, слышишь! — как можно тверже повторил я и взглянул поверх его русой вихрастой головы в ту сторону, где в просвете между ближними домами и деревьями проглядывал торец пятиэтажки, той самой, в которой прошло мое раннее детство, вот до такого примерно возраста, в котором сейчас пребывал мой сын. Я смотрел рассеянно на угол своего бывшего дома, освещенного с торца ярким полуденным солнцем, и мне в какой-то момент пригрезился мальчик в светлой рубашке в голубую клетку с коротким рукавом и синих, высоко подтянутых шортах, словно бы высматривающий кого-то в той самой стороне, где были мы. Он напряженно всматривался в даль и не видел нас, потому что… Я вдруг понял: потому что он ждал свою маму. Неужели этим мальчиком был я?!

— Се-ре-жа-а, ну, где же вы? Выходите скорей к машине, пора уже возвращаться домой! — услышал я за спиной взволнованный голос своей поседевшей и ставшей в два, если не больше, раза меньше по росту мамы. Теперь я не мог, как когда-то, обхватить руками ее талию,

уткнувшись носом в грудь. Теперь, напротив, если обнять маму за плечи и притянуть ее к себе, она уткнется своим по-девчоночьи вздернутым носиком мне пониже груди…

— Не обижай, — еще раз повторил я, уже непонятно к кому обращаясь, к притихшему своему сынишке или на этот раз к самому себе. — Потому что мама — это и есть королева того волшебного царства, в котором нам с тобой сегодня посчастливилось побывать…

И совсем уж тихо добавил:

— Без мамы было б невозможно чудо. И счастье. Ты уж поверь мне, сынок.

…Первое и, наверное, самое главное слово нашей жизни — «Мама». Первое, самое важное и часто — последнее. Так было и так пребудет во веки веков. По крайней мере, до тех пор, пока еще человек приходит в этот мир естественным, человеческим путем, стало быть — по божьему замыслу и его же законам.

Красный день календаря

Пасмурное ноябрьское утро постепенно проясняется, светлеет. То и дело неуверенно проглядывает на какое-то мгновение и снова гаснет холодное, уже почти зимнее, равнодушно-безжизненное солнце, затянутое плотными кучевыми облаками, набухшими от влаги. «По радио вчера обещали снег», — вздыхает за спиной, из своего темного угла бабушка и, скрипнув пружинами кровати, встает и, тяжело вздохнув, идет на кухню — разогревать завтрак. Уже на выходе из комнаты она как бы невзначай прикасается своей мягкой шершавой рукой к его спине, отчего в этом месте, из-под ее руки, у него начинают разбегаться по телу, под фланелевой теплой рубашкой, во все стороны юркие щекотливые мураши, — и идет себе дальше, мягко ступая в своих войлочных домашних чунях по облупившимся местами от времени гладким деревянным половицам с тщательно заделанными и замазанными щелями между ними.

С этими щелями целых два или даже три дня провозился в сентябре пожилой интеллигентный мастер с маминой работы, тихий обстоятельный человек с короткими седыми волосами, зачесанными набок, и внимательным взглядом светлых глаз из-под белесых пушистых бровей, к которым почему-то все время хотелось притронуться, как хочется порой прикоснуться к кошке, провести рукой по ее мягкой, наэлектризованной шерсти. Мастер аккуратно забивал с помощью ножа и стамески эти бездонные черные щели старой ветошью: обрезками простыней, наволочек и пестрыми лоскутами, оставшимися от маминых выкроек. Мама по выходным сама раскраивала по журналам и шила себе наряды, и ему заодно — в основном домашние рубашки и штаны, часто из разномастных кусков материи, отчего вещи выходили яркие, цветастые, похожие на пестрые костюмы цирковых клоунов. От одного взгляда на них повышалось настроение, как в том же цирке или во время праздника… Мастер этот, чем-то похожий на Айболита из старой детской книжки с многочисленными цветными картинками, только без бороды, и не в белом халате, а в синем, который он принес с собой в холщовой сумке и надел его поверх выцветшей голубой рубашки перед тем как приступить к работе, сосредоточенно орудовал стамеской, медленно продвигаясь от половицы к половице. И лишь через два часа, после того как заделал прорешины в прихожей и малом простенке между нею и кухней, он вышел на несколько минут в подъезд на перекур, после чего, перетащив свой ящик с инструментом в комнату и по-хозяйски оглядевшись по сторонам, снова принялся за работу, то и дело приговаривая что-то непонятное себе в усы…

Если не заделать как следует щели, особенно в коридоре и большой комнате — к зиме под полом по стоякам соберутся полчища тараканов: в квартирах-то куда теплее и сытнее, чем в подвале, который внизу, всего через один стояк от их квартиры.

Они с мамой и бабушкой жили на втором этаже. И в большой комнате, сбоку от широкого окна — была дверь на балкон. А с балкона летом можно запросто спрыгнуть на жестяную крышу подвала, которая как будто вырастает из земли, постепенно увеличиваясь по высоте в направлении ко входу в него, образуя таким образом своеобразное подобие горки, крытой светлыми, под цвет асфальта, листами металла, проржавевшими по краям до дыр, и как раз с левого края от их балкона она достигает своей наивысшей точки. Так что с бетонной кромки его, если перелезть через деревянные перила, до конька подвальной крыши остается всего ничего — каких-то полтора метра, что немногим больше его роста. Всего-то! И он уже не единожды, пока бабушка возилась на кухне, проделывал летом этот фокус: спрыгивал на балконную крышу, по ней спускался вниз на тротуар и, победно оглядевшись по сторонам, юркал в подъезд, бойко взлетал на свой второй этаж и как ни в чем не бывало звонил в дверь. Бабушка с той стороны долго и шумно возилась с замками, аккуратно прокручивая сначала верхний, основной замок, а затем уж отодвигая с натужным скрежетом нижнюю щеколду. Увидев за порогом внука, только

удивленно поводила черными, подкрашенными хной бровями: дескать, когда же это ты уж успел на улице-то побывать, я и не слыхала даже, как выходил. А позже, когда наконец до нее доходило, что к чему — балконную-то дверь старались не оставлять открытой в отсутствие в комнате людей, мало ли чего, все-таки второй этаж, не четвертый — до самого вечера с ним не разговаривала, уж лучше бы отлупила или оттянула как следует за уши, что ли. Выдерживать же этот многочасовой бабушкин бойкот было ну совершенно невозможно: приходилось чуть ли не на коленках вымаливать у нее прощения, а то и подключать к этому делу маму — что уж поделаешь: семь бед — один ответ.

Но уж давно как закончилось лето, пришли осенние холода, и балконную дверь, как и окна во всех комнатах, бабушка с мамой загодя позатыкали ватой и заклеили по стыкам плотной бумажной лентой, продающейся рулонами в хозяйственных магазинах. На это ушло в аккурат половина субботы и добрая часть воскресенья, из-за чего они с мамой, помнится, так и не успели никуда сходить и ни о чем не поговорили даже толком, не посекретничали, как обычно бывало по выходным… А сегодня большой праздник: день седьмого ноября, красный день календаря — и потому был выходной прямо посередине недели, в четверг. Но мама все равно с раннего утра, он даже не слышал когда, ушла на работу, в свое училище — ей нужно было собирать и готовить своих воспитанников — взрослых уж совсем парней и девчат — к праздничной демонстрации… И тут он вспомнил о том, что праздничные разноцветные колонны с красными знаменами и транспарантами прошествуют совсем рядом от их дома — по большой проезжей улице Сибиряков-Гвардейцев, проходящей за крайними домами, безмолвными стражниками обступившими их тихий двор. От внезапно вспыхнувшей, подобно молнии, этой мысли он вскочил из-за своего новенького, пахнущего лаком, письменного стола и, перетащив стул к окну, мигом взобрался на гладкий белый подоконник, прильнул лбом к прохладному стеклу. Сквозь давно облетевшие и теперь сиротливо сквозящие на ветру своими черными когтистыми ветками тополя он различил в расщелине между «пограничными» домами медленно движущуюся, словно бы топчущуюся на месте, толпу людей с развевающимися красными стягами над головами. Людские колонны время от времени сменялись фантастическими красно-белыми машинами с алыми полотнищами на бортах: «МИР, Труд, Май!» — и со сложными, непонятными конструкциями, водруженными сверху, самой простой и узнаваемой из которых был огромный бледно-голубой земной шар, медленно вращающийся вокруг косой оси, точно как школьный глобус, только в тысячу раз больше. Эти чудо-машины натужно и неуклюже, подобно жукам, двигались средь пестрой толпы в направлении к Башне. «Уже началось!» — содрогнулся он от прошившей его электрической стрелой мысли и, вскочив с корточек на ноги, со всей силы рванул на себя форточку. Через нее с улицы прямо ему в лицо хлынул студеный густой воздух вперемешку с обрывками ритмичной музыки: бом-бом-бом! — и рваными лоскутами задорных голосов дикторов, то женского, то мужского, несущихся из невидимых репродукторов: «Сла-ва-а на-ро-ду тру-же-ни-ку, на-ро-ду по-бе-ди-те-лю…» Эх, если б только можно было выпорхнуть через форточку подобно тому вон серому воробышку, раскачивающемуся напротив окна на ветке тополя, и устремиться что есть духу через двор прямо туда, где музыка, нарядно одетые люди, много-много людей, где праздник, веселье, неизъяснимый восторг в каждом лице, в каждом взгляде… И где среди этой пестрой разноцветной людской реки должна была пройти и его мама вместе со своими подопечными. Ее училище обычно следовало за передовыми предприятиями района — отдельной большой колонной, в которой сплошь молодежь, в основном голосистые, вечно заливающиеся звонким смехом девчата, от чьих вскриков, улыбок, касаний, запахов бывало шла кругом голова — в те редкие и счастливые моменты, когда мама брала его с собой на работу. Но это было давным-давно, еще до школы… От нахлынувших чувств сердце его натужно забилось в груди подобно загнанной пташке и… неожиданно оборвалось на самом взлете: форточка над его головой с грохотом захлопнулась, взвизгнув напоследок от испуга, и следом глухо проворчала бабушка: «Ты что,

хочешь подхватить воспаление легких и слечь на две недели в постель?!» И дальше она продолжала уже спокойнее, с привычными ласковыми распевными нотками: «Пойдем, мой хороший, пора завтракать, уже и чайник подоспел!» И он, едва сдерживая подкативший к горлу комок, поплелся вслед за бабушкой — сначала умываться, а потом и завтракать — в их тесную кухоньку, где так тепло и уютно от натопленной печи, в которой полыхают с веселым треском заготовленные с вечера палые ветки, наполовину прогнившие чурки и дощечки от старых ящиков — все это «добро» они с бабушкой насобирали вчера, уже по сумеркам, по дальним задворкам и у гаражей под школьной оградой. И теперь эти разномастные дровишки так умиротворенно и убаюкивающе гудят и потрескивают за чугунной заслонкой их кухонной печи, примостившейся в углу, справа от окна. Кухня наполнена разнообразными, будоражащими обоняние запахами: гречневой каши, «с дымком», как любит с неподдельным смаком отметить бабушка, поджаристого хлеба и того самого «дымка», то бишь терпкого, словно бы полевого, деревенского запаха, доносящегося из печи, в которой неистово, как очумевший первоклассник, вырвавшийся на перемену в просторный школьный коридор, мечется по дровам огонь, все сильней и сильней разгораясь. И жутко замирает сердце от одного только взгляда на топку, на жадно охватившее в ней со всех сторон эти неказистые головешки пламя… Яркое, нетерпеливое, злое в своей звериной ярости, и в то же время ласковое, желанное, притягивающее к себе — как главный атрибут дома, очага, человеческого жилища. Оно постепенно набирает силу, крепнет, отчего делается все беспокойнее, с каждой минутой становясь все азартней, шумней, ярче. Доходит до того, что из-под потрескавшейся местами белой дверцы, видимо, не до конца прикрытой, просыпается на железную подстилку под ней целыми пригоршнями раскаленная белесая зола. Следом — еще и еще. А он завороженно наблюдает, как растет на полу эта серая горка, пока бабушка, вооружившись тряпкой и деревянной скалкой, не приткнула наконец с силой печную дверцу, опустив сверху на нее до упора крючок засова. И огонь тотчас стал глуше, спокойнее — словно зверь, загнанный в клетку. Глядь, а на столе уже аппетитно дымятся только что снятые со сковородки румяные оладьи с темной поджаристой корочкой по краям. А к ним — и сметанка в голубой пиале, и рубиновое варенье из смородины или крыжовника в стеклянной розетке, и дымящийся в кружке чай… А за запотевшим стеклом окна — едва теплится блеклый дрожащий фитилек пасмурного и стылого ноябрьского утра. И, рассеянно глядя в окно, ощущая при этом жаркое дыхание печи, все больше и больше проникаешься извечными теплом, миром и уютом родного дома…

А после завтрака можно завалиться под мягкий клетчатый плед на диване в большой комнате, прихватив с собой увесистый том Диккенса или Марка Твена. Уроки сегодня можно отложить и на «после обеда», все равно ведь мамы часов до четырех не будет. Так что до этого времени все можно успеть: и наиграться в солдатиков, и посмотреть мультики по телевизору, и почитать книжку, и, конечно, приготовить на завтра уроки. А когда наконец вернется домой мама, обязательно с гостинцами — будет настоящий семейный праздник. Мама принесет его в дом вместе с собой с заполненных до краев людьми, флагами, шарами и музыкой вздыбленных площадей и улиц. А мама — она ведь настоящая мастерица устраивать маленькие домашние праздники — с веселыми играми, прятками, неожиданными сюрпризами и угощениями, принесенными с работы: конфетами, печеньем, коржиками и мандаринами. Не говоря уже о том, что одно ее появление на пороге, как всегда, разрумянившейся, веселой и до щеми в груди красивой — уже само по себе праздник, по крайней мере, для него уж точно.

И в этих своих всегдашних, неспешных и приятных, домашних делах и заботах, в играх своих и раздумьях, в уединении с любимой книгой наконец он постепенно забывает о том, что готов был разрыдаться от одной только мысли, что все самое главное сейчас происходит где-то там, за окнами, за дальними домами, на большой городской улице, где тянутся нескончаемой рекой потоки празднично наряженных веселых и счастливых людей, где гремит музыка, звучат задорные песни, где радость и восторг светятся в каждом взгляде… Словом, там настоящий

праздник. И все это проплывает мимо, мимо, стремясь куда-то вдаль, к какой-то своей эфемерной и неизменно прекрасной цели. Словно бы сама жизнь проплывает мимо, оставляя его на одиноком пустынном берегу. Совсем одного — в этой сумрачной и неприбранной комнате. Наедине со своими сокровенными мыслями, чувствами, смутными воспоминаниями, мечтами.

Но каким-то неизведанным глубинным чувством своим он все же понимает, что расстраиваться — нет, не стоит, и торопиться никуда не нужно: все придет в свое время и своим чередом. Потому что будет у него еще много всяких разных праздников, торжеств и открытий. Ведь впереди еще целая жизнь: яркая, насыщенная, волшебная, неповторимая — его жизнь! Да, он уже понимает — чувствует это всем своим маленьким трепетным существом, готовым, кажется, вместить в себя целый мир: безграничный, как море-океан, извечно манящий своими лазурно-золотыми призрачными далями, и — неизбывно прекрасный.

Раз в январский вечерок

Этот тихий субботний вечер, — с унылым подвыванием ветра и мерным постукиванием обледеневшего карниза за окном, — длился, кажется, бесконечно. Игорь склонился в пятне теплого золотистого света от настольной лампы над задачником по алгебре и своей густо исписанной математическими формулами тетрадкой, в десятый, если не больше, раз разбирая способы решения отдельных, особо сложных, задач и уравнений, которые выучил уже чуть ли не наизусть. Было в самом этом процессе что-то завораживающе-магическое, заставлявшее юношу возвращаться к одним и тем же примерам по нескольку раз, чтоб снова и снова насладиться четкой закономерностью математических действий, строгим подчинением этих бесконечных числовых и буквенных комбинаций определенным правилам, законам, теоремам, подобным волшебным заклинаниям, замысловатым магическим кодам, зная которые, можно открывать любые тайные двери и находить выходы из самых запутанных числовых и буквенных лабиринтов. Игорю доставляло немалое удовольствие, когда он натыкался на какой-то необычный поворот в этих длинных буквенно-цифровых цепочках, заставлявший его на несколько мгновений, а то и минут, глубоко задуматься, что было сродни нырку в белесо-зеленоватую морскую пучину с последующим погружением в ее плотную темную глубь в отчаянной попытке, пока хватает дыхания, распустить сей замысловатый клубок из буковок и цифр, задействовав подходящий ключик в виде формулы или теоремы. И вот наконец — Эврика! — нужный ключ подобран. Глубокий вздох, какой и впрямь бывает у вырвавшегося на поверхность ныряльщика после затяжного заплыва под водой. Теперь главное — правильно этот ключ использовать, приложив его к нужному месту (отверстию) и прокрутив заданное число раз — а дальше уже все само собою пойдет как по маслу. И, действительно, длинное, заковыристое математическое выражение, состоящее из множества дробей с логарифмами и квадратными корнями, разложенными по всем их полочкам, подобно чайным чашкам на мойке, под рукой юноши начинает быстро разматываться наподобие бабушкиного клубка, вытягиваясь в одну тонкую нить, которая в конце концов и вовсе заканчивается совсем уж простым выражением, например: $3x^3$, которое в воображении Игоря тотчас превращалось в правильную графическую фигуру, напоминающую хрустальный новогодний фужер для шампанского и называемую параболой.

А еще Игорю отчего-то нравилось до бесконечности повторять в уме или даже полушепотом, старательно проговаривая каждое слово, как заговор или молитву, некоторые особо замысловатые, отчего и впрямь кажущиеся волшебными теоремы или определения. Ну, например: «Производная функции — есть предел отношения приращения функции к приращению аргумента при последнем, стремящемся к нулю». Какая дивная ворожба слов: предел отношений, приращение функции, аргумента… Проговаривая эти чудные, магические слова, Игорь часто задумывался, слепо глядя в одну точку, находящуюся за пределами яркого пятна света от настольной лампы — где-то в темном углу под подоконником. Потом медленно переводил взгляд на окно, за которым царила непроглядная сизая темь. В стекло то и дело бился порывистый ветер — и совсем не видно было ни звезд, ни даже отсвета огней от окон дома напротив.

«Предел отношения приращения функции…, — упрямо талдычит юноша полушепотом. — Предел отношения… приращения функции… к приращению аргумента…» Какие все-таки завораживающие слова! И вдруг начинает осознавать, что давно уже думает не о дельтах, иксах, игреках, проговаривая, как заклинание, это определение, которое и без того отчеканил бы без запинки, разбуди его среди ночи и спроси об этой самой производной — что оно есть такое. А о чем тогда? А задумался он вот именно что о самых простых человеческих «отношениях», которые, как бы это ни казалось кому-то странным, могут возникать между людьми просто так, словно бы из самого воздуха, в котором вдруг зарождается какая-то новая материя, что ли.

А для этого, как оказалось, достаточно одного случайного, мимолетного взгляда, слова, беглого касания на «непарадной» школьной лестнице во время большой перемены. И вот тебе на: «отношения»! Еще вчера их и в помине не было, этих чертовых отношений, а сегодня — они есть, как ни крути. И совершенно невозможно от них, назойливых, отвязаться, как ни загружай бедную свою голову формулами и теоремами. Потому что все равно ведь над тобой повисли Дамокловым мечом эти самые «отношения». А порой кажется, что они: отношения эти невозможные, будь они неладны, а заодно мысли и чувства, с ними связанные, — и вовсе разлились в воздухе погожего январского полудня, обернувшись вдруг призрачно мерцающими золотыми звездочками. Или ослепительно переливающимися на солнце, подобно осколкам бриллиантов, снежинками.

Надо же, как, оказывается, бывает, — рассуждал про себя Игорь, все глубже погружаясь в свои мысли (в последнее время это случалось с ним все чаще, и порой в самое неподходящее время, например, посередине урока), — отношения-то могут быть и односторонними. И как бы ни прирастала функция мыслей, эмоций и чувств с одного боку, а с другого, хоть разбейся, все равно ноль внимания. Так что, получается, приращение аргумента и впрямь ведь стремится к нулю, а не к бесконечности. И в один прекрасный момент, стало быть, и вовсе никаких аргументов у него, Игоря, может не остаться? И что же тогда?

Эти мысли, роем кружась и нарастая клубком, подобно январской снежной метелице за темным окном, порой заводили юношу так далеко, что он забывал об учебниках, о времени, об окружающих и вообще часто забывал, казалось, обо всем на свете. От этих самых мыслей Игорь в последнее время стал не в меру задумчивым и рассеянным, часто отвечал невпопад, и не только одноклассникам на переменах, но и учителям во время уроков, отчего уже чувствовал за спиною характерные смешки и перешептывания. Но ничего, ровным счетом ни-че-го не мог с собою поделать. И при этом не было у него вообще никаких аргументов, чтобы хоть что-то объяснить — для начала самому себе, не говоря уже о близких, которые тоже, ясное дело, стали уже о чем-то догадываться: что-то не то, дескать, с нашим Игорьком делается!

«Да, приращение аргумента явно стремится к нулю!» — задумчиво проговорил Игорь в пустоту, тупо глядя в темное окно, за которым ни шута не было видно. Только унылое завывание ветра, только мерное постукивание какой-то неведомой плошки о подоконник… И тотчас за спиной его тяжко вздохнула бабушка — о чем-то своем, далеком, невысказанном. Игорь порывисто обернулся: бабуля его, притихшая, трогательно маленькая, как девочка, хотя и полноватая для своего роста, в просторном своем темно-синем домашнем платье в мелкий цветочек, со все еще вьющимися и густыми, но сплошь посеребренными сединой черными волосами, прихваченными на затылке гребенкой, сидела позади него с краю дивана и перебирала какие-то свои разноцветные тряпицы, вынутые из пестрого узелка, как будто бы на минутку только присела по надобности своей всегдашней — что-нибудь сложить-перебрать, как божья пташка на ветку, чтоб только, не дай Бог, не помешать ему «заниматься», не находя, видимо, себе места и дела в других комнатах, где привычно — много света, суеты, шума, где, как всегда, на полную громкость включен телевизор с последними известиями и погодой на завтра. А он и не заметил даже, как и когда она вошла и присела на уголок дивана за его спиной, и впрямь ведь словно ангел… У Игоря сжалось сердце: «Бабуль, ты чего?» — «Да ничего, так….Зашла посмотреть. Все занимаешься», — и она взглянула на него пронзительно, ласково, словно из потустороннего мира. От взгляда этого стало тепло, уютно, как в детстве. И отчего-то еще больше защемило в груди.

— Передохнул бы, что ли, хоть немного от этих учебников, сходил бы куда-то. Ну, хоть за хлебом… белым. А то на завтра, на утро, ни кусочка почти белого хлеба к чаю не осталось

— Да, бабуля, конечно, сейчас схожу, — Игорь решительно клацнул выключателем настольной лампы и начал порывисто натягивать на себя носки, шерстяную нижнюю рубашку, свитер — как будто только и ждал этих бабушкиных слов про то, что «нет ни кусочка совсем

белого хлеба на утро» или какого другого повода, чтоб оторваться наконец от стола, за которым провел почти весь день, и начать собираться на улицу — в эту синюю непроглядную темь, где так заунывно подвывает ветер и, наверное, метет-метет, взвихривая снежную пыль по краям поблескивающих серебром дорожек. И, похоже, завернул нешуточный морозец…

Выйдя из подъезда, Игорь с наслаждением вдохнул морозного воздуха, как будто весь день ждал этой вот самой минуты, когда вырвется наконец из теплой дурманной атмосферы дома, из этого извечного тепла и уюта, и окажется в морозной ночи (а мороз- то и впрямь приличный, не меньше семнадцати градусов будет!) — в темном неприютном дворе меж двумя безликими девятиэтажками, похожими одна на другую, как братья-близнецы, где ни души, только отсвет от фонаря с торца дома, на который густой мошкарой летел снег… Один на один с темно-сизым, словно бархатным небосводом, низко нависшим над домами. И со своими сумбурными мыслями, которые, как он теперь понял, были совсем-совсем далеко от алгебры с геометрией. А думал он теперь все больше о грядущих жизненных переменах и испытаниях, которые ждали его через каких-нибудь полгода всего. И, главное — наедине со своими сокровенными чувствами, которые, как оказалось, были куда сильнее и беспокойнее всяких самых серьезных мыслей. Теперь-то он осознал это очень ясно. Именно эти смутные, тревожные чувства и не давали ему покоя все последнее время, не позволяя как следует сосредоточиться на алгебре с физикой, постоянно толкали его куда-то прочь из-за стола, из дому — на простор улиц, зовя за собою в какую-то неведомую, тревожно гудящую и неизменно манящую за собою даль. Куда, зачем? — кто ж мог ответить ему на эти извечные вопросы. И юноша, в очередной раз глубоко вдохнув обжигающего воздуха (а мороз-то, пожалуй, и впрямь покрепче будет, чем обещали по радио!) и выпустив ртом струю пара, от которого тотчас же засеребрился по краям шарф, натянутый под самый подбородок, зашагал наискосок через двор по вытоптанной среди глубокого рассыпчатого снега дорожке, по этим бриллиантовым блесткам, там и сям посверкивающим прямо под ногами, и по привычке завернул за угол соседней девятиэтажки. Словом, направился привычным своим путем. За многоэтажкой этой теперь был пустырь с чудом уцелевшими местами остатками плетней, каких-то убогих сараев за ними и сиротливо торчащими стволами яблонь-дичек и рябинок. И это все, что осталось после прошедших здесь прошлым летом бульдозеров, под самый уж закат его, в самую благодатную, как специально выбранную пору, когда вся эта садовая зелень пышно разрастается и плодоносит, когда повсюду идут уже первые приготовления к зиме и так звонко перекликаются вечерами молодые и задорные женские голоса по окрестным дворам да огородам. Да, на этом месте до недавнего еще времени была настоящая деревня, вернее, чудом уцелевший островок ее: всего две-три улицы со старыми, но еще вполне прочными избенками и, как водится, с палисадниками спереди да огородами позади них. Словом, чудесный островок старого, уходящего в прошлое уклада, изо всех сил зацепившийся за краешек своей родимой земли, теснимый со всех сторон напирающими современными многоэтажками — к большой проезжей дороге, за которой рукой подать до железнодорожной станции. И по этому заповедному островку Игорь так любил прогуляться, особенно по весне, когда все враз расцветает белым, сиреневым, алым и полнится запахами, звуками, людскими голосами, жизнью… Пройтись, никуда не торопясь, с жадностью вдыхая свежесть очнувшейся от долгого сна влажной земли, первой зелени и первого цвета. Как в сказке, в которой очутился чудом, по щучьему велению, хотя всего и делов-то: пересечь наискосок широкий свой городской двор и завернуть за угол дома напротив. Вот тебе и сказка! И совсем другой мир, другая жизнь, настоящая, без затей, напрямую связанная с землицей, которая кормит и поит, с извечными хлопотами и заботами на ней — словом, та жизнь, которой веками до нас жили наши пращуры.

Удивительными казались Игорю все эти люди, жившие в этих чудом уцелевших бревенчатых избах по старому «дедовскому» укладу, несмотря на подступивший со всех сторон город, взявший их в свои железные объятия. Не иначе инопланетянами, представителями другой все-

ленной казались они жителям окрестных многоэтажек. Но сколь же прекрасным и дивным представлялся самому Игорю этот мир — с этим его обстоятельным укладом, с каждодневными заботами и нуждами его немногих теперь обитателей, что он порою начинал чувствовать и себя частицей этого заповедного мира, по недоразумению от него оторванной. И так сладко и покойно становилось в такие мгновения на душе. Так хорошо, что не хотелось и покидать этот чудный островок — так бы стоять и стоять где-нибудь в сторонке под яблонькой или рябинкой, привалившись боком к забору, ни о чем не думая — только внимая этой деревенской гармонии, тишине, этим дурманным запахам, отдаленным людским голосам, напрочь позабыв о всех своих мелочных заботах и проблемах. И даже о том, куда и зачем он, собственно, направлялся…

Искрящаяся бриллиантовыми россыпями тропинка, извиваясь, петляла меж сугробов, из которых торчали местами колья и уцелевшие секции от дощатых заборов, ведя к шумной дороге, на свет фонарей и вокзальных прожекторов. Но до этого света нужно было еще добраться, полагаясь на эту самую тропинку, неизвестно кем и для какой надобности протоптанную здесь, на месте бывшей деревеньки, в одночасье по чьему-то велению-распоряжению превратившейся в бестолковый пустырь. Уже по осени жители соседних высотных домов начали потихоньку, в темное в основном время суток, сносить сюда мусор, старую бытовую технику и всякий другой хлам. И носили бы, верно, и дальше, если б строители не оградили территорию будущей стройки мощным бетонным забором. Впрочем, и строители отчего-то не шибко спешили развертывать здесь свои работы — обнесли площадку плитами, да и забросили это дело, хотя до первых заморозков, а тем более до зимы, было еще далеко. Зато бульдозеры перед этим поработали здесь куда как дружно и споро, не оставив от домишек и камня на камне, как будто спешили согнать с места последних здешних обитателей до холодов, чтоб, не дай Бог, не остались те на зиму в родных своих, дедовых хатах еще на полгода, до весны, когда вновь дивным невестиным цветом зацветут здешние сады и подойдет время вскапывать огороды, сажать картошку. Привычка-то она пуще неволи… А в результате теперь — ни домов, ни строительного котлована, с которым, видно, тоже решили повременить до весны, чтоб за зиму и следа не осталось от бывшей этой маленькой деревеньки.

На земле-то может, и не останется, а из сердец людских попробуй-ка ее выскрести. Долго еще, до самого почти снега приходили сюда, вместе и поодиночке, вчерашние здешние жители, все высматривали чего-то, обходя свои бывшие владения, копались в земле, вроде что искали — ценное, родное, теперь уж навсегда утраченное. А в конце сентября даже разожгли на пустыре огромный костер, наподобие пионерского, снося в него уцелевшие доски от заборов, высохшие ветки от деревьев и какой-то еще разношерстный, неизвестно откуда взявшийся хлам. Потом в сумерках долго еще негромко судачили у огня, как будто о чем-то договариваясь на будущее, при этом задумчиво вглядывались в рыжее пламя, в котором догорали остатки их прошлой жизни со всеми ее радостями и горестями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.